

КИРИЛЛ ОСТАПЕНКО

ЛЕТО 93-ГО

КЕНТУККИ · КНИГА 1



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

18+

Кирилл Остапенко

Лето 93-го

«Автор»

2026

Остапенко К. В.

Лето 93-го / К. В. Остапенко — «Автор», 2026

1993 год. Страховщик из маленького городка в Кентукки приходит в себя после комы в собственном доме. Света и воды нет, шкафы пусты, а за окнами медленно бродят те, кто ещё недавно был людьми. Кто-то всё это время ставил ему капельницы — но теперь этого человека нет. Он не солдат и не герой. Едва ходит, никогда не держал оружия и не знает, как переживают конец света. Всё приходится осваивать на ходу: искать еду, воду, лекарства, принимать решения, которые ещё вчера казались бессмысленными. Его мать живёт на юге, в Боулинг-Грине, за рекой. Неспешный зомби-постапокалипсис о бытовом выживании, ошибках и обычном человеке, который учится жить заново.

© Остапенко К. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	16
Глава 3	27
Глава 4	38
Глава 5	46
Глава 6	55
Гл	65
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Кирилл Остапенко

Лето 93-го

Глава 1

Первым вернулся звук.

Капало. Где-то рядом, размеренно, раз в несколько секунд: кап... кап... Я слушал это, прежде чем понял, что слушаю. Потом понял, что лежу. Потом — что не могу открыть глаза.

Веки будто склеили.

— М-м... — сказал я. Вернее, попытался сказать. Вышло что-то вроде скрипа несмазанной двери.

Поморгал. Раз, другой, третий. Ресницы отлипли, и в глаза ударил серый свет.

Потолок. Белый, с жёлтым пятном протечки в углу, похожим на Флориду.

Знал это пятно. Восемь лет собирался его закрасить.

Каждую весну я покупал банку белой краски и валик. И каждую весну банка отправлялась в гараж, к предыдущим. Последний раз, когда я туда заглядывал, их стояло четыре, нераспечатанные. «Потом», — говорил я себе.

— Дома, — прохрипел я. — Я дома...

Голос был чужой. Сиплый, тонкий, как у старика после ангины. Горло драло, будто я наглотался песка.

Правая рука лежала поверх одеяла. Велел ей подняться. Рука дрогнула пальцами и поднялась сантиметров на десять. Задрожала. Упала обратно.

Посмотрел на неё, скосив глаза.

Рука была моя. Наверное. Обручального кольца на ней никогда не было, шрам от консервной банки на большом пальце — на месте. Но сама рука стала тоньше. Кожа обвисла, вены проступили, как у деда. Ногти кто-то аккуратно подрезал. Ровно, полукругом.

— Это что за хрень... — пробормотал я.

Попробовал ещё раз. Поднял. Подержал. Опустил медленно, чтобы не шлёпнуть.

С левой было хуже. На сгибе локтя торчала пластиковая штуковина с крылышками, прилепленная крест-накрест пластырем. От неё вверх уходила прозрачная трубка. Проследил трубку глазами до стойки с крюком у кровати. На крюке висел пустой пакет из-под капельницы, сморщенный.

Капельница. У меня дома. В спальне.

— Ага, — сказал я. — Ага...

Думать дальше голова отказывалась. Гудела.

Пластырь отдирали долго. Пальцы правой руки слушались плохо, ногти скребли по краю, а он не поддавался. Наконец я подцепил, потянул — вместе с пластырем ушли все волоски на сгибе.

— С-с-сука-а-а...

Выдернул катетер. Из ранки выступила тёмная капля крови. Зажал её большим пальцем и держал.

Под одеялом я был голый. Вернее, почти голый: на мне был памперс. Взрослый памперс, белый, с синими липучками по бокам. На поясе голубыми буквами было напечатано: «Дигнити Плюс. Свобода движения весь день!»

— Мама дорогая, — сказал я тихо.

Мне тридцать девять лет. Ну или сколько там сейчас — тридцать девять было, когда я последний раз смотрел на календарь. Восемь лет в отделе договоров «Мидленд Каунти Иншуранс». Ипотека, пивной живот, пятничный футбол по телевизору. И памперс.

Живот никуда не делся. Обмяк, растёкся по бокам, но остался на месте. Руки похудели вдвое, а живот — нет.

Кома.

Слово легло на место, как кусок пазла. Катетер. Пустой пакет.

Пролежал в коме.

Сколько?

Сел я с четвёртой попытки. Первые три кончились тем, что я приподнимался на локтях, они разъезжались, и я падал обратно в подушку. Наконец я перевалился на бок, свесил ноги с кровати и вытолкнул себя вверх руками.

Комната поехала влево. Вцепился в матрас и переждал.

Сидел. На краю собственной кровати. В памперсе.

— Молодец, — сказал я себе. — Герой. Олимпийский чемпион.

Под коленями у меня, кстати, лежала свёрнутая валиком подушка. Ещё одна — под пятками, чтобы пятки висели в воздухе. Тупо смотрел на эти подушки. Кто-то их подкладывал. Кто-то знал, что лежачим так надо, чтобы не было пролежней.

На тумбочке стояла пластиковая бутылка с водой. Литровая, полная на треть.

Увидел её и забыл обо всём. О памперсе, о подушках, о коме.

Вода.

Рука потянулась сама, схватила бутылку, бутылка выскользнула из слабых пальцев и покатилась по тумбочке к краю.

— Стоять!

Поймал её обеими руками у самого края. Прижал к груди, как ребёнка.

Крышка не откручивалась. Крутил, пальцы соскальзывали. Зажал бутылку между колен и пробовал двумя руками сразу.

— Ну! Ну давай же!..

Щёлкнуло. Крышка поддалась.

Пил. Вода была тёплая, с привкусом пластика, и вкуснее неё в жизни ничего не было. Половина текла по подбородку на грудь. Плевать.

Выпил всё. До последней капли. Потом ещё перевернул бутылку над открытым ртом и потряс.

И тогда заметил, что под бутылкой лежала тетрадь.

Обычная школьная тетрадь в клетку, синяя обложка, мокрая теперь. На обложке написано маркером: «Уход».

Открыл её.

Таблица, начерченная от руки по линейке. Колонки: «Дата», «Время», «Вода (мл)», «Питание», «Давление», «Примечания». Почерк мелкий, ровный, с наклоном вправо. Строчки, строчки, строчки. Страница за страницей. «Поворот на левый бок». «Пролежней нет». «Пакет сменён». «Пальцы правой руки шевелились — рефлекс?».

Перелистнул к концу. Записи обрывались на середине страницы.

Последняя строка была короче остальных: «Вода — 300. Последний пакет. Больше нет». И всё. Ни подписи, ни даты в колонке «Дата» — там стоял прочерк.

Долго смотрел на этот прочерк.

Кто это писал? Соседка? Медсестра? Зачем? Вопросы полезли один за другим, налезая друг на друга, и в висках застучало сильнее. Закрыв тетрадь.

Упёрся руками в матрас и толкнулся. Ноги продержали секунду — и подогнулись, как у новорождённого телёнка. Рухнул на колени прямо на ковёр.

— Ох-х...

Стоял на четвереньках дыша ртом.

Сколько же я лежал?

Стойка капельницы, металлическая, на колёсиках, с крюком наверху. Высотой мне примерно до подбородка.

Ага.

Подполз к ней, обхватил трубу двумя руками и полез вверх, перехватываясь, как матрос по мачте. Колёсики поехали, стойка накренилась.

— Стой, стой, стой, стой!

Навалился, и колёсики встали — упёрлись в край ковра.

Встал. Держался за стойку. Ноги тряслись так, что колени стучали друг о друга.

— Вот так, — прохрипел я. — Вот так. Стоим.

Постоял с минуту. Потом сделал шаг. Стойка покатилась вперёд, я за ней. Ещё шаг. Ещё.

Шёл, как дед в больничном коридоре. Толкал стойку перед собой, шаркал, останавливался каждые три шага. До двери спальни — метра четыре.

— Нил Армстронг, — сказал я, привалившись к косяку. — Один маленький шаг для человека...

На кухне было пусто.

Это я понял ещё с порога, но всё равно открыл все шкафчики. По очереди, держась за стойку одной рукой.

Пусто. Голые полки, крошки в углах. Даже моя банка с солью, большая, жестяная, с отбитой эмалью на боку, — пропала. Даже пакетики с чаем. Даже засохший батон, который я, кажется, собирался выбросить ещё перед... перед.

— Вычистили, — сказал я. — Подчистую.

В холодильнике было пусто. Дверца приоткрыта, внутри темно, лампочка не горит. Из морозилки натекла лужа на нижнюю полку. В луже, в мутной плёнке, лежала свиная отбивная. Одна. Мягкая, розовая, чуть подсохшая по краям.

Ткнул её пальцем. Пахло ещё терпимо.

Щёлкнул выключателем на стене. Щёлкнул ещё раз.

— Электричества, значит, нет, — сказал я.

Повернул кран над раковиной. Кран чихнул воздухом, плюнул одной ржавой каплей и затих.

— И воды тоже нет.

Я закрывал холодильник, когда за окном завывала сигнализация.

Близко. Улица, может, две. Протяжно, с переливами, тем самым воем, от которого в нормальной жизни весь квартал просыпается и матерится в подушку.

Следом кто-то закричал.

Высоко, долго. Женский голос или мальчишеский — не разобрать. Крик тянулся, тянулся... и оборвался на середине.

Замер.

Сигнализация продолжала выть. Больше никто не кричал. Угадывалось что-то ещё — глухое, шаркающее. Будто много людей шли куда-то в домашних тапках.

Сердце застучало в горле. Понял, что присел, только когда упёрся задом в холодную дверцу духовки.

— Тихо, — прошептал я. — Тихо...

Пошёл к окну. Посмотреть, откуда кричали.

В гостиной занавески были задёрнуты. Подошёл к ним сбоку, по стенке, и отодвинул край.

Посреди дороги стояли трое.

Стояли и покачивались. Женщина в розовом махровом халате и одной тапке. Мужчина в голубой рубашке почтальона, с сумкой через плечо. И парень в спортивном костюме. У парня на левой щеке была дыра, сквозь которую белели зубы.

Смотрел на эту дыру. На зубы. Белые, ровные, до самого уха, как на анатомическом плакате в кабинете у школьной медсестры.

Руки у него висели вдоль тела. Лицо спокойное, будничное, как на остановке в ожидании автобуса.

Желудок подпрыгнул к горлу.

Успел отвернуться от окна. Меня вырвало прямо на ковёр — водой, той самой, тёплой, из бутылки. Вся она вышла обратно, до капли. Стоял на четвереньках, и меня выворачивало ещё и ещё, уже пустым, одной желчью, со звуком, который в тишине гостиной казался оглушительным.

Зажал рот рукой.

— Да ну нахрен, — прошептал я сквозь пальцы. — Да ну нахрен. Да ну на-хрен...

Вытер рот ладонью и снова подполз к окну. Руки ходили ходуном. Отодвинул занавеску на палец.

Трое стояли там же.

— Ладно, — зашептал я быстро, — ладно, ладно. Пьяные. Просто пьяные. В полдень. Втроём. Посреди дороги...

Пьяные шатаются, держатся друг за друга, орут песни. А эти стоят ровно, как столбы, и только покачиваются.

— Обдолбанные. Ангельская пыль. По телеку же показывали, как обдолбанный ангельской пылью полицейских раскидывал, ему руку сломали, а он даже не заметил...

Парень с дырой в щеке повернул голову. Медленно. Как сова.

— Кино, — сказал я. — Кино снимают. Грим. Сейчас из-за угла выйдет режиссёр с мегафоном, скажет «снято», и все пойдут пить кофе.

Смотрел на угол. Режиссёр из-за угла не выходил. Камер не было. Фургонов с аппаратурой не было. Был детский велосипед у калитки Хендерсонов и ветер, который гонял по асфальту обёртку от жвачки.

Почтальон вдруг дёрнулся. Резко, всем телом, будто его ударило током. И побежал.

Он бежал быстро. Чёрт, как же быстро он бежал! Ноги выбрасывает, голова мотается, сумка хлопает по бедру, письма летят веером на асфальт. Он пронёсся через газон, съёс велосипед Хендерсонов — тот отлетел, и почтальон даже не сбился с шага. Исчез за углом.

Туда, где была сигнализация.

Двое других развернулись и побрели следом, медленно, подволакивая ноги.

Опустил занавеску. Сполз по стене на пол.

Меня трясло. Зубы стучали так, что я сжал челюсти. Ладони стали мокрыми и холодными, и я вытирал их о штаны, вытирал, вытирал, а они оставались мокрыми.

И где-то в голове, совсем некстати, всплыла картинка. Двенадцать лет, ночёвка у Ронни Пратта, его старший брат притащил из проката кассету, чёрно-белую, затёртую до полос, — «Ночь живых мертвецов». Мы смотрели её втроём под одеялом, с выключенным светом. Мертвецы там шли по полю к дому. Медленно, покачиваясь. Руки висят. Голова набок. Потом неделю спал с включённым ночником, а мама думала, что я заболел.

— Зомби, — сказал я шёпотом.

И засмеялся.

Сидел на полу собственной гостиной, в одном памперсе, над лужей воды на ковре, и смеялся. Сначала тихо, в кулак. Потом сильнее, со всхлипами, до икоты, до слёз. Смех рвался из меня, как раньше рвота, и остановить его было так же невозможно.

— Зомби! — икнул я. — Ромеро! Майкл Джексон в «Триллере»! Танцуем!..

И вдруг понял, что смеюсь в голос. Громко. А те двое на улице ещё не дошли до угла.

Зажал рот обеими руками. Смех булькал в горле, лез через нос. Давил его, давил, пока он не превратился в мелкую дрожь в животе.

Медленно убрал руки ото рта.

— Зомби не бывает, — сказал я очень тихо и очень твёрдо. — Зомби — это кино. Грим, кетчуп и студенты-статисты за двадцать баксов в день. А там на улице больные. Бешенство. Новая зараза какая-то. Наркота. Что угодно.

Сидел под окном и думал, что делать.

Остаться? Здесь мой дом. Моя кровать.

Но воды нет. Еды нет. Света нет.

Останусь — дня через три умру от жажды. Тут без вариантов. Уйду — может, встречу этого резвого почтальона. А может, и не встречу.

За восемь лет я ни разу не посоветовал клиенту рискнуть. Ни разу. «Не стоит, мистер Такой-то, давайте оформим полис подороже».

Тот, кто за мной ухаживал, ушёл. Или не смог вернуться.

Поймал себя на том, что опять лезу в этот вопрос, и встряхнул головой.

— Так, — сказал я. — Стоп. По пунктам. Как на планёрке.

— Пункт первый: уйти отсюда, — я загнул палец. — Где дома, там и эти. Значит, туда, где домов мало.

Где у нас мало домов? Напряг память. За городом, к югу, — поля, фермы, озеро. Ездил туда на рыбалку с Доном из бухгалтерии. Один раз. Рыбы мы не поймали, зато обгорели.

— Значит, на юг. Пункт второй: обувь. Босиком я дальше крыльца уйду только до первого стекла.

Загнул второй палец.

— Пункт третий: вода. Пункт четвёртый: ночлег.

Поднялся, держась за подоконник. Ноги дрожали меньше. Немного, но меньше.

Мой шкаф в спальне был пуст.

Вешалки висели в ряд, голые, как скелеты. Деревянные, пластиковые, проволочные из химчистки. На полках — ни одной футболки. В ящиках комода — ни одного носка.

— Да вы издеваетесь...

Обшарил всё. Под кроватью нашёл одну футболку с длинным рукавом, свалевшуюся в комок, розовую, с надписью на груди «Забег страховщиков — 1991».

В этом забеге я не финишировал. Сошёл на втором километре и доехал до финиша на машине организаторов. Футболки выдавали всем, кто пересёк черту, — неважно как. Когда я наконец добрался до столика, мужские кончились. Девушка с бейджилом «Волонтёр» порылась в коробке и вручила мне последнюю: розовую, женскую, размера XL. С такой сочувственной улыбкой, что мне захотелось сойти с дистанции ещё раз.

— Ну хоть так, — сказал я и натянул её.

Футболка висела на плечах, как на вешалке, и туго обтягивала живот.

Стянул с кровати простыню, обмотал её вокруг пояса и завязал узлом на боку. Вышло что-то вроде юбки. Или тоги. Римский сенатор.

Наволочку я снял с подушки.

Мусорный бак стоял у задней двери. Вспомнил о нём, потому что, я сам туда в последний раз выкидывал... что? Неважно. Если кто-то вычищал дом, то часть хлама могла оказаться там.

Выглянул из задней двери. Двор пустой. Тишина, если не считать сигнализации.

Добрёл до бака, держась за стену. Поднял крышку.

Пакет с картофельными очистками. Сломанный зонт. Под зонтом — синяя ткань.

Потянул.

Штаны. Мои рабочие штаны, старые, с пятном машинного масла на колене. Мокрые снизу и воняющие луком.

— Родные мои...

Простыню-юбку я разматал, скомкал и сунул в наволочку. Пригодится.

Надел штаны прямо там, у бака, стоя на одной ноге и держась за крышку. Затянул ремень — который так и остался в штанах — на последнюю дырку. Штаны всё равно сползали.

Пришлось проколоть новую дырку. Гвоздём из забора. Пока ковырял, руки снова начали трястись.

Сел на крыльцо. Отдыхать.

* * *

Стойку от капельницы я оставил у задней двери. Колёсики гремели бы на всю улицу.

Вместо неё взял швабру. Швабра стояла в кладовке, единственная вещь, которую оттуда не вынесли. Видимо, на неё никто не позарился. Обломал щётку ударом о порог — вышла палка. Посох. Опора.

Отбивную забрал из холодильника в последний момент. Сырую есть — увольте, я в колледже доклад по биологии про свиных паразитов списывал, кое-что запомнил. Но огонь где-нибудь да найдётся, а еды больше никакой.

На плечо повесил наволочку с отбивной. Туда же сунул тетрадь — снова сам не понял, зачем. Наверное, потому что это единственное, что связывало меня с тем, кто здесь был.

Открыл заднюю дверь.

Двор был пустой. Забор. Яблоня. За забором — двор Маккензи, дальше ещё пять дворов, я их знал наперечёт. А потом город кончается, и начинаются поля.

Шесть дворов. В нормальной жизни — пять минут прогулочным шагом.

Сигнализация где-то затихла. Стало так тихо, что я слышал, как стучит в ушах собственная кровь.

Попробовал присесть, чтобы меня было хуже видно. Через четыре шага бёдра загорелись так, что я чуть не сел на землю. Ладно. Пошёл согнувшись, держась за забор одной рукой и опираясь на палку другой.

Первый забор был низкий. По пояс.

— Ну, — сказал я шёпотом.

И перекинул ногу через штaketник.

Вторая нога зацепилась. Повис на заборе животом, как бельё на верёвке, побалансировал и перевалился на ту сторону. Шлёпнулся в прошлогоднюю листву.

Лежал и смотрел на небо. Серое, низкое.

Дверь в дом была распахнута настежь.

Присел за поленницей и смотрел на эту дверь.

Зайти? Там может быть еда. Вода. Обувь — у мистера Маккензи сорок четвёртый размер, как у меня, мы однажды из-за этого перепутали галоши на барбекю.

Обувь...

Уже приподнялся, когда из темноты за дверью донеслось шарканье. Медленное, тяжёлое. Шарк. Пауза. Что-то глухо стукнулось о стену. Шарк.

Сел обратно за поленницу.

Внутри. Они бывают и внутри.

Шарканье бродило где-то в глубине дома, то ближе к двери, то дальше.

Зайти в тёмный дом, где кто-то шаркает, когда я даже бежать не могу? Нет уж.

Пошёл вдоль задней стены их гаража, не сводя глаз с двери, пока гараж её не закрыл.

Ноги начали болеть уже в следующем дворе, за вторым забором.

Земля сырая, ступни заledenели почти сразу. Потом я наступил на что-то острое — шишку или камешек — и зашипел сквозь зубы. Потом ещё раз. А потом под пяткой хрустнула ветка, и я замер, вжав голову в плечи, будто от этого звук стал бы тише.

Ничего. Тишина.

Сел у стены сарая и задрал ногу. Ступня была красная, в царапинах, а между пальцами налипла чёрная грязь. Кожа на подошве — мягкая, розовая, как у младенца. Мозоли, которые я годами натирал новыми туфлями на корпоративах, сошли начисто.

— Пункт второй, — пробормотал я. — Обувь. Обуви нет. Значит...

Значит, простыня.

Вытащил её из наволочки. Попробовал порвать руками. Ткань затрещала и не поддавалась. Попробовал ещё — пальцы соскользнули, слабые, как варёные макаронины.

— Ну давай, — шипел я. — Давай же...

Пришлось зубами. Надкусил край, разодрал на полосу. Ещё раз. Ещё. Вышло четыре длинные полосы, неровные, с бахромой. Обмотал ими ступни, как видел в каком-то фильме про войну — от пальцев к пятке, крест-накрест, и завязал на щиколотке.

Пошевелил пальцами. Посмотрел.

Две белые культяпки.

— Ну, обмотки, — сказал я.

Встал. Сделал несколько шагов. Мягко. Тихо. Шишки и камешки чувствовались, но уже не кололи.

Изгородь из туи вывела меня к детской площадке.

Площадку я тоже знал. Две качели, горка с облупленной синей краской, песочница с бортиками из старых покрышек. По вечерам здесь сидели подростки, курили и громко орали. Ходил мимо на работу и обратно.

Сейчас подростков не было.

На скамейке у песочницы сидел мужик в клетчатой фланелевой рубашке. Босой. Голова свёрнута набок так, что ухо почти лежит на плече. Сидит и смотрит в песочницу, как манекен.

Одни качели слегка поскрипывали. Ветер.

Замер за твоей.

Кто это? Пьяный? Уснул? С такой шеей вообще...

— Сиди, — выдохнул я едва слышно. — Сиди, родной. Смотри в песочницу.

В песочнице валялось жёлтое пластиковое ведёрко. Мужик смотрел на него, не мигая.

Обойти можно было двумя путями. Через открытую площадку — быстро, но на виду. Или за гаражами — дольше, вдоль задних стенок, по узкому проходу.

Выбрал гаражи.

Шёл согнувшись, держась рукой за холодные металлические стенки и останавливаясь у каждого угла. Гараж. Ещё гараж. Под ногами что-то хрустело — хорошо, что я в обмотках. На одной стенке кто-то нарисовал баллончиком кривую рожицу и написал «Тут был Ти-Джей».

Гаражи кончились. Выглянул.

Мужик всё так же сидел на скамейке. Спиной ко мне.

— Молодец, — прошептал я. — Хороший. Сиди.

И пошёл дальше.

Вдоль гаражей я два раза садился отдыхать. За последним я упёрся в забор.

Высокий. Деревянный, из плотно сбитых досок, метра под два. За ним виднелась крыша сарая и голая верхушка яблони.

— В детстве лазил же, — сказал я себе. — Через забор миссис Олсон за грушами.

Подпрыгнуть я даже пробовать не стал. У стены валялось перевернутое оцинкованное ведро. Подтащил его к забору, взобрался на него, держась за доски, и уцепился пальцами за верхний край. Ведро подо мной закачалось.

Ногу закинуть — она болталась где-то на полметра ниже, чем надо. Я дёргался, сопел, скрёб обмотками по доскам.

И загнал под ноготь занозу.

— А-а-а, зараза!

Ведро вылетело из-под ног, и я шлёпнулся об землю на спину. Сунул палец в рот. Лежал, сосал палец и смотрел на верхний край забора, до которого было метра полтора.

Заноза сидела глубоко, под самым ногтем, и торчала тёмным хвостиком. Подцепил его зубами. Потянул. Вытащил щепку длиной с полспички.

— Вот гадина...

Палец дёргал. Пососал его ещё, сплюнул кровь и сел.

И тут понял, что крикнул. Громко. На всю улицу.

Слушал.

Тихо. Где-то каркнула ворона. Больше ничего.

— Идиот, — прошептал я. — Ты идиот.

Обход нашёлся через два участка. Высокий забор там переходил в низкий штакетник, по пояс, с облезлой белой краской. Одна нога. Вторая. На той стороне. На этот раз даже почти не зацепился.

И тут за спиной зашаркало.

Обернулся.

Мужик в клетчатой рубашке шёл ко мне. Со стороны гаражей, медленно, вперевалку. Свёрнутая голова болталась на каждом шаге, как у сломанной куклы. Метрах в двадцати.

Потом в пятнадцати.

— Ох ты ж...

Клетчатый дошёл до штакетника. Упёрся в него грудью. Постоял, покачиваясь. Руки висели вдоль тела, пальцы шевелились.

Сейчас перелезет. Сейчас перелезет, и мне конец. Бежать я не могу. Драться — палкой от швабры? Против этого?

Он навалился на штакетник всем телом. Доски жалобно скрипнули.

И он перевалился через верх. Вниз головой.

Прямо в клумбу, где торчали прошлогодние стебли тюльпанов.

Смотрел я, не моргая. Клетчатый лежал лицом в земле. Потом зашевелился. Загрёб руками. Попытался подтянуть под себя колени — и завалился на бок. Ещё раз — и снова на бок. Как перевёрнутый жук.

— Зомби, — прошептал я.

На этот раз я не смеялся.

Пока клетчатый барахтался в тюльпанах, я уже ковылял к следующему забору. Держась за стену, пытая, как паровоз. Но уходил.

До края города оставалось два двора.

В первом, за четвёртым забором, стоял гараж с приоткрытой боковой дверью. Долго слушал у этой двери. Тихо. Заглянул в щель — внутри светло от окошка под крышей, и видно всё до задней стены. Никого.

Протиснулся внутрь.

Полки по стенам. Голые. Ни банки краски, ни гвоздя, ни старого ботинка. Крюки на стене, где раньше висели инструменты, — пустые, только светлые контуры на пыльной фанере: пила, молоток, грабли. Даже канистру кто-то унёс, на бетонном полу остался масляный круг.

— Вот как, — пробормотал я. — Значит, так не только у меня.

Окна дома при этом гараже, со стороны двора, были задёрнуты плотными шторами. Обошёл его и подёргал заднюю дверь — заперта. Можно было разбить стекло палкой.

— Нет, — сказал я сам себе. — Нет, нет и нет.

С торца у этого же дома нашлось одно окно без штор. Подкрался к нему сбоку и заглянул одним глазом. Кухня. Перевернутый стул. Открытые дверцы шкафчиков, за ними пустые полки. Посреди кухни, лицом к холодильнику, неподвижно стоял человек в домашних трениках и майке.

Просто стоял и смотрел в дверцу холодильника.

Отпрянул от окна и минуты три сидел под стеной, зажав рот ладонью.

На пятом заборе я зацепился штаниной за гвоздь.

Рванулся. Затрещала ткань. Голень обожгло.

Свалился на ту сторону, в чей-то огород с гнилыми тыквами, и сразу задрал штанину.

Руки тряслись. Ткань выскальзывала из пальцев.

Царапина. Длинная, от колена вниз, сантиметров пятнадцать. Мелкая, с ровными краями. Кровь выступила бусинками.

Гвоздь торчал из доски у меня над головой. Ржавый, кривой, с клочком синей ткани от моих штанов.

— Столбняк, — сказал я вслух. — Прививку от столбняка мне делали в... восемьдесят седьмом? Когда я на велике в канаву улетел. Ну. Сколько она там действует? Десять лет?

Посчитал на пальцах. Сбился. Сколько сейчас вообще лет, если я лежал непонятно сколько?

Оторвал от остатков простыни полоску и замотал ногу поверх царапины. Опустил штанину. Сел ещё на минуту.

Есть хотелось уже всерьёз.

* * *

Город кончился внезапно.

Шестой забор, последний, был совсем низкий, по колено, и за ним открылось поле. Широкое, бурое, с прошлогодней травой и лужами в колеях. Через поле тянулась дорога, за дорогой — лесополоса.

Сидел у последнего забора и смотрел на это.

Открытое. Совсем открытое. Ни одного куста, ни одного забора до самой лесополосы. Метров двести, не меньше.

— Ну, — сказал я. — Ну и что делаем?

Вспомнил, как бежал почтальон. Двести метров он пробежит за... сколько? Секунд тридцать? А я?

Пройду их минут за пять. Если не упаду.

На поле ворона ковыряла что-то в луже. Больше никого.

— Ладно. Ладно...

Поднялся. Ноги дрожали.

И пошёл.

Шёл не пригибаясь — пригибаться сил уже не было. Палка от швабры втыкалась в мокрую землю и вытаскивалась с чавканьем. Обмотки сразу промокли. Считал шаги вслух, шёпотом, чтобы не думать.

— Сорок один... сорок два... сорок три...

Ворона подняла голову и посмотрела на меня. Каркнула. Вздрогнул всем телом.

— Заткнись, — прошипел я. — Заткнись, пожалуйста...

Ворона каркнула ещё раз и улетела.

— Девяносто... девяносто один...

На сто пятидесятом шаге я упал. Ноги просто сложились, и я сел в лужу. Сидел и дышал.

— Ничего, — сказал я. — Ничего. Отдыхаем.

Огляделся. Пусто.

До дороги я дошёл за... не знаю. Часов у меня не было. По ощущениям — за год.

Дорогу я узнал. Сороковое шоссе, местное, двухполосное. По нему я ездил на рыбалку с Доном из бухгалтерии. На юг, к озеру.

На обочине, носом в кювет, стоял синий пикап. Водительская дверь открыта. Внутри никого.

Присел за пикапом. Отдышался. Заглянул в кабину.

На пассажирском сиденье лежала открытая коробка из-под пончиков. Пустая. Крошки, пятно глазури. Пошарил под сиденьями, в бардачке, в дверных карманах. Бутылка воды? Хоть глоток колы на дне банки? Ничего. Квитанция с заправки, солнечные очки без одного стекла, фантики.

Язык во рту стал шершавый. На приборной панели — фотография, засунутая за козырёк: девочка лет пяти, без двух передних зубов, улыбается в объектив.

Ключа в замке не было.

Метрах в трёхстах, у поворота, стояло одноэтажное здание из серого кирпича. Пустая парковка на шесть машин. На крыше — выцветший щит. Буквы я с такого расстояния не разглядел, зато разглядел большой палец, поднятый вверх.

Автошкола. «Безопасное вождение с Гэри». Проезжал её сотни раз и каждый раз морщился от этой улыбки на щите.

Сейчас я ей почти обрадовался.

Автошкола. В ней никто не живёт. По ночам там пусто, по выходным тоже. Значит, когда всё это началось, там было мало людей. А где мало людей, там и этих мало.

И она стоит на моём пути, на юг. За ней — только поля.

— Так. Пункт четвёртый, — сказал я. — Ночлег.

Триста метров по обочине я шёл почти полчаса. Останавливался. Садился. Вставал. Каждые пятьдесят шагов оглядывался.

Шоссе было пустое. Совсем. Ни одной машины, ни в одну сторону. На асфальте лежала кроссовка, детская, розовая.

У автошколы я остановился за мусорным контейнером и долго смотрел.

Гэри на щите улыбался и показывал большой палец. Вблизи стало видно, что у него облупилась краска на зубах, и улыбка от этого вышла щербатой. Под Гэри шла надпись помельче: «Сдашь с первого раза — или следующий урок бесплатно!»

— Ну и рожа, — пробормотал я.

Обошёл здание кругом. Медленно, вдоль стены, заглядывая в каждое окно.

Класс. Парты, доска. Пусто.

Кабинет. Стол, стул, шкаф.

Входная дверь была заперта. Подёргал ручку — глухо. Постучал костяшками, тихо, по соседски.

Тишина.

Вернулся к первому окну, с классом. Подцепил раму пальцами снизу. Потянул вверх.

— Есть, — прошептал я. — Есть, есть, пошла...

Полез. Живот застрял на подоконнике. Поёрзал, оттолкнулся обмотками от стены, поёрзал ещё. И рухнул внутрь — прямо на ученическую парту, опрокинув стопку бумаг. Бумаги разлетелись по полу.

Лежал на парте лицом вниз и слушал.

Тишина. Только сердце бухает в ушах и где-то под потолком гудит муха.

Никто не пришёл.

Сполз с парты на пол. Сел, привалившись к батарее. Батарея была холодная.

Посмотрел на окно. Потом встал на четвереньки, дополз до него и опустил раму. Щёлкнул шпингалетом.

— Пункт четвёртый, — сказал я. — Выполнен.

Вернулся к батарее и сел. Вокруг на полу лежали разлетевшиеся бумаги. Поднял ближайший лист. Тест. «Вы приближаетесь к нерегулируемому пешеходному переходу. На переходе находится пешеход. Ваши действия?»

Перечитал вопрос три раза. Потом засмеялся.

Глава 2

Смеялся я недолго. Смех кончился сам, как кончается бензин, — дёрнулся пару раз и затих.

— Ладно, — сказал я. — Хватит сидеть. Начнём с того, что есть в этом здании.

Подниматься пришлось в два приёма: сначала на колени, держась за батарею, потом на ноги, держась за парту. Ноги гудели. Обмотки промокли насквозь и холодили ступни.

— Медленно, — сказал я себе. — Комната за комнатой. Никуда не спешим.

Класс я обошёл первым.

Двенадцать парт в три ряда. Доска с полустёртой схемой перекрёстка — стрелочки, машинки, человечек на зебре. Проектор на тележке, накрытый пыльным чехлом. На стенах — плакаты с дорожными знаками. «Уступи дорогу». «Стоп». «Осторожно, олени». Над доской — большой плакат: улыбающаяся семья в машине, папа, мама и двое детей, все пристёгнуты, все сияют. Подпись: «Пристегнись — береги жизнь!»

Проверял парты по одной. Открывал крышку, заглядывал, закрывал. Через каждые три парты садился на стул и отдыхал.

— Ну, что тут у нас...

В первой — пусто. Во второй — огрызок карандаша. Забрал. В третьей — пусто. В четвёртой ластик, розовый, в форме сердечка, с надписью «Кэти + Брэд».

На учительском столе лежала стопка тестов, скреплённых скрепками. Снял две скрепки и сунул в наволочку. Ещё на столе стоял стаканчик с ручками. Чёрная, синяя, красная. Синяя не писала. Почиркал ей по тесту, подышал на шарик, почиркал ещё — без толку. Взял чёрную и красную.

В ящике стола нашлись ножницы. Обычные, канцелярские, с синими пластиковыми ручками. Пощёлкал ими в воздухе. Лезвия сходились туго, со скрипом.

— Хоть что-то.

Ещё в ящике лежали коробок спичек, одноразовая зажигалка и полмотка скотча. Зажигалку я сразу проверил. Колёсико чиркнуло — огонёк. Маленький, жёлтый, дрожащий.

Смотрел на этот огонёк, пока не обжёг палец.

— Огонь, — сказал я. — У нас есть огонь. Значит, будет и отбивная...

Живот отозвался таким бурчанием, что я испугался, не слышно ли его на улице.

— Тихо, — шикнул я сам на себя, будто это я урчал нарочно. — Потом. Сначала всё осмотрим.

На стене у двери висела карта. «Округ Нокс. Схема дорог». Приколота кнопками по углам, края загнулись от времени. Снимал её минут пять — кнопки сидели туго, пальцы соскальзывали. В конце концов поддел ножницами.

Расстелил на парте.

Вот Роузвуд. Вот Сороковое шоссе. Вот крошечный квадратик у поворота, подписанный от руки синей ручкой: «Мы здесь!» — кто-то из инструкторов постарался для учеников.

Взял красную ручку и обвёл квадратик. Подумал. Поставил рядом крестик.

— Мы здесь, — согласился я.

Кабинет был за стенкой.

Стол, стул, железный шкаф для документов, вешалка-стойка в углу. На вешалке висели три проволочные вешалки-плечики, пустые. На гвоздике у двери — связка из двух ключей на кольце с картонной биркой. На бирке: «Кабинет / склад».

Железный шкаф скрипел так, что я открывал каждый ящик по сантиметру, замирая после каждого рывка. Внутри — папки. Личные дела учеников. Бланки. Квитанции об оплате. Пролистал пару папок и закрыл. Бумага. Горы бумаги.

В нижнем ящике лежал сборник кроссвордов. Три первые страницы разгаданы, причём столица Австралии из шести букв вписана как «Сидней».

— Неправильно, — сказал я. — Канберра. Восемь букв, правда. Ну, значит, вопрос неправильный.

Ещё нашёлся ключ от машины. Один, без брелока, на потёртом кольце. Покрутил его. От какой машины? Учебной, наверное. А где учебная машина? На парковке пусто.

— Уехал на ней кто-то, — сказал я. — Уехал, а ключ запасной оставил.

Газета лежала на столе, под кружкой с засохшим кофе.

Сдвинул кружку. На газете остался коричневый круг. Правый верхний угол был оторван — неровно, наискосок, вместе с шапкой. Названия газеты не видно. Даты тоже не видно.

Заголовок был на месте. Крупный, жирный, на всю полосу.

«ОКРУГ НОКС ЗАКРЫТ НА КАРАНТИН».

Перечитал. Потом ещё раз.

Округ Нокс...

Роузвуд — это округ Нокс. Нас закрыли.

Под заголовком была фотография: военный грузовик поперёк дороги, солдат в каске машет рукой. Под фотографией — мелкий текст. Начал читать первую строку и остановился.

Руки тряслись. Буквы прыгали.

Читать дальше я не стал. Хватило. Голова и так гудела, как перегруженный трансформатор, и запихнуть в неё ещё хоть что-то не получалось.

— Карантин, — сказал я вслух.

Значит, вся наша улица. Весь Роузвуд. Весь округ.

Посмотрел на рваный край. Пытался понять, сколько пролежал в коме, и единственная бумажка, которая могла бы мне это сказать, была без даты.

— Ну и ладно, — пробормотал я. — Ну и ладно. Сколько бы ни пролежал — я тут. Сейчас.

Сложил газету вчетверо и сунул в наволочку, к тетради.

Пить хотелось так, что язык прилипал к нёбу и отлипал со звуком.

В углу коридора стоял кулер. Подошёл к нему, едва не бегом — насколько вообще можно назвать бегом шарканье с палкой. Пустая бутылка. Ни капли. Всё равно нажал на синий краник. Краник щёлкнул вхолостую.

— Ну конечно...

Нажал на красный. Тоже ничего.

Туалет был в конце коридора. Одна кабинка, раковина, зеркало. Окна нет. Темно, но дверь была открыта, и света из коридора хватало.

Кран над раковиной чихнул воздухом. Как дома.

Стоял и смотрел на унитаз.

— Бачок же, — сказал я.

Когда у меня дома сломался поплавок, я полдня возился с ним сам, потому что сантехник просил шестьдесят долларов за вызов. Тогда всё изучил. В бачке — та же вода, что и в кране. Чистая, водопроводная. Её туда набирает поплавок после каждого слива. А если никто не сливал...

— Значит, она там, — прошептал я. — Значит, она там...

Крышка бачка была керамическая, белая. Сначала я выкрутил кнопку слива — она сидела в хромированном кольце по центру крышки. Кольцо поддалось не сразу, пришлось повернуть его несколько раз пальцами, пока резьба наконец не отпустила. Вынул кнопку и отложил её в сторону.

Потом обхватил крышку обеими руками и потянул вверх. Она приподнялась на сантиметр и пошла обратно. Перехватил поудобнее, упёрся коленом в унитаз и потянул снова.

Пошла.

Поставил её на пол, к стене. Руки дрожали.

Вода. Полный бачок воды. Прозрачной, с ржавым налётом на стенках, но вода. Литров пять-шесть.

— Господи... — сказал я. — Господи, спасибо тебе.

Чем черпать? Огляделся. Ладонями — неудобно, половина прольётся. Кружка! Кружка с засохшим кофе в кабинете.

Сходил за ней — туда и обратно с отдыхом. Сполоснул кружку первой порцией прямо над унитазом. Зачерпнул ещё.

И пил.

Вода была холодная, с привкусом ржавчины и кофейной горечи со стенок кружки. Пил медленно, как учили в каком-то фильме про пустыню: глоток — пауза, глоток — пауза. Потому что если выпить залпом, меня вывернет, как утром у окна, и всё уйдёт в унитаз.

Две кружки. Третью я пил уже сидя на крышке унитаза, маленькими глотками, и чувствовал, как вода растекается по телу, по рукам, по ногам.

Посмеялся. Тихо.

Пункт третий — выполнен. На сегодня.

Осталась пара литров. На утро.

Крышку надо было вернуть на место. Чтобы вода не пылилась.

Поднял её с пола. Поднял до колен. До пояса. Ещё чуть-чуть...

Руки разжались сами.

Крышка выскользнула из пальцев, ударилась углом о край бачка и рухнула на кафель.

Грохот был такой, будто в туалете выстрелили из ружья. Звон, треск, эхо по пустому коридору — долгое, гулкое.

Стоял над ней и не дышал.

Эхо затихло. Тишина.

— Нет, — прошептал я. — Нет-нет-нет. Пожалуйста...

Тишина.

Где-то за стеной, далеко, каркнула ворона.

Выдохнул. Сел на пол рядом с половинками крышки. Сидел, обхватив колени.

Крышка раскололась ровно пополам. На изнанке одной половинки было выдавлено: «Гранит-Сантехника».

— Всё нормально, — сказал я. — Всё нормально. Никто не слышал.

А потом в классе что-то заскребло по стеклу.

Дошёл до двери, держась за стену, и выглянул из-за косяка.

За окном стоял человек.

Мужик в синем рабочем комбинезоне. Здоровый, широкий в плечах, с пивным пузом не хуже моего. На груди нашивка с именем — отсюда не разобрать. Он стоял вплотную к стеклу и скрёб по нему пальцами. Медленно. Сверху вниз. Ногти оставляли на стекле мутные полосы.

Лицо у него было серое. Глаза мутные, как у варёной рыбы. Нижняя губа отвисла, и с неё тянулась слюна.

Смотрел он на меня.

Прямо на меня.

Отпрянул за косяк. Сердце колотилось в горле так, что я его слышал.

Скр-р-р... Скр-р-р...

— Уходи, — прошептал я. — Уходи, пожалуйста. Тут ничего нет.

Скр-р-р...

Он не уходил.

Сидел я за косяком и думал.

Он будет скрести. Сколько? Час? До утра? А если он разобьёт стекло?
Скр-р-р... Тук. Он ударил ладонью. Стекло дрогнуло.
— Твою мать... — прошептал я. — Твою мать, твою мать...
Он ударил ещё. Стекло задрожало в раме.
Значит, так. Значит, надо...
Надо его убрать. Сейчас. Пока он один.
Посмотрел на свои руки. Они тряслись.
— Ты? — спросил я себя. — Ты его уберёшь? Ты крышку от бачка удержать не можешь.
Закрыв глаза. Вспомнил клетчатого в тюльпанах: как он перевалился через штакетник головой вниз и встать не мог.
Подоконник в классе — мне по пояс. Как штакетник.
— Ладно, — сказал я, открывая глаза. — Ладно. Так.
Если открыть окно... Он полезет. Он ляжет на подоконник животом. Перевалится наполовину. И застрянет — ноги снаружи, голова внутри.
И тогда я...
— Ножницами, — сказал я. — Сверху. Пока он там висит.
Тук! Стекло хрустнуло. По нему побежала тонкая трещина.
Встал.
До окна было шагов шесть.
Шёл их, держась за парты. Мужик в комбинезоне следил за мной мутными глазами и бил ладонью в стекло. Тук. Тук. Трещина ползла.
Вблизи я разглядел нашивку. «Дуэйн».
Дуэйн.
— Привет, Дуэйн, — сказал я. Голос был тонкий и чужой. — Ты тут чинил что-то, да? Комбинезон у тебя рабочий. Ты, наверное, хороший мужик был, Дуэйн...
Дуэйн ударил в стекло.
Встал я сбоку от окна, у стены, чтобы не стоять прямо перед ним. Протянул руку к шпингалету. Пальцы не слушались, соскальзывали.
— Ну... ну давай же...
Щёлк.
Схватился за ручку рамы и рванул вверх. Рама поехала со скрипом и встала в верхнем упоре. Проём — сантиметров семьдесят.
Дуэйн сунулся в проём сразу. Он навалился на подоконник грудью, потом животом — перевесился внутрь.
И застрял.
Ноги остались снаружи, болтались, скребли носками по стене. Голова и руки свисали, почти до пола. Пузо легло на подоконник, как мешок с цементом.
Он загребал руками воздух. Тянулся ко мне. Я был сбоку, в полуметре, и пальцы его не доставали — скребли по полу, по ножке парты.
Сработало. Чёрт возьми, сработало!
Поднял ножницы.
И ударил.
Ножницы вошли в шею сбоку. Неглубоко, сантиметра на два. Выдернул их — они вышли с чмокающим звуком. Из раны потекло тёмное, густое, как варенье из перевёрнутой банки.
Дуэйн даже не дёрнулся. Продолжал тянуться ко мне.
Ударил ещё. В шею. И ещё. И ещё.
Шея у Дуэйна превращалась в месиво. А он загребал руками и хрипел. Как ни в чём не бывало.

Руки у меня уже горели. Пальцы, сжимавшие ножницы, свело судорогой. Ударил в спину — ножницы ткнулись в комбинезон и соскользнули. Ударил в плечо — то же самое. Ткань толстая, рабочая.

Дуэйн повернул голову. Медленно. Посмотрел на меня снизу вверх мутным глазом.

И я ударил в глаз.

Ножницы вошли легко. Глубоко, по самые ручки.

Дуэйн замер.

Его руки обвисли. Голова мотнулась и повисла. Хрип оборвался на середине.

Выдернул ножницы. Отступил на шаг. Ещё на шаг. Упёрся спиной в парту.

Дуэйн висел на подоконнике, неподвижно. Головой вниз, руки до пола. С его лица капало на линолеум.

— В голову, — сказал я вслух. — Только в голову. Как в кино...

Ножницы выпали из пальцев и звякнули об пол. Пальцы так и остались скрюченными, будто всё ещё сжимали ручки. Попробовал их разогнуть — не получалось. Светло.

Меня затрясло.

Сначала руки. Потом колени. Потом всё тело — мелко, часто, затрясло как от холода. Сполз по парте на пол и сидел, глядя на Дуэйна.

Убил я человека.

Нет. Он был... Он уже был...

Меня скрутило. Желудок подпрыгнул, и я согнулся над полом. Пусто. Вода из бачка осталась на месте, но меня всё равно выворачивало — пустыми спазмами, с хрипом, раз, другой, третий.

— Он был мёртвый, — хрипел я между спазмами. — Он уже был мёртвый. Ты видел шею. Ты видел. Ему было не больно. Он был мёртвый, мёртвый, мёртвый...

Спазмы кончились. Вытер рот рукавом футболки.

Поднялся. Выглянул в окно — из-за спины Дуэйна, через его плечо, вытянув шею.

По парковке шёл ещё один.

Медленно, вперевалку, со стороны шоссе. Парень, молодой, в кожаной куртке и джинсах.

Метров тридцать.

Ножницы. Где ножницы?

Поднял их с пола. Лезвия разошлись крест-накрест — погнулись о глаз Дуэйна или о его ремень, когда я промахнулся. Попробовал свести их — не сходились. Ткнуть ими ещё можно. Наверное. Если хватит сил.

А сил не было. Руки висели, как варёные.

Закреть окно? Дуэйн лежит на подоконнике. Рама не опустится.

Двадцать метров.

Думай. Думай, страховщик хренов. Ты восемь лет искал в договорах подвох. Ищи.

Что у меня есть? Ножницы погнуты. Палка от швабры — лёгкая, ею только тыкать. Ключи. Кроссворды...

Крышка бачка.

Две половинки керамической крышки. Тяжёлые, с острым краем на разломе.

— Да, — выдохнул я. — Да!

Бросился в коридор — насколько может броситься человек, которого шатает. Держась за стену. До туалета. Половинка крышки лежала у унитаза. Поднял её двумя руками. Тяжёлая. Килограмма два, может, три. Руки сразу затряслись.

Назад по коридору. Медленно, медленно, медленно...

Когда я вернулся в класс, парень в кожаной куртке уже был у окна.

Он полез сразу, не задерживаясь. Навалился на Дуэйна сзади, всем весом, как на ступеньку.

И Дуэйн поехал.

Сто двадцать килограммов сползли с подоконника внутрь и рухнули на пол с таким звуком, будто уронили шкаф. А парень в кожаной куртке, лишившись опоры, перевалился через пустой подоконник следом. Головой вниз. Прямо на спину Дуэйну, а с неё — на пол, к моим ногам.

Хруст. Он ударился головой о линолеум.

И начал вставать.

Медленно. Загребая руками, подтягивая колени, заваливаясь на бок.

Стоял над ним с половинкой крышки в руках.

Поднял крышку над головой. Руки дрожали так, что она ходила ходуном. Не удержал бы её и пяти секунд.

И отпустил.

Крышка рухнула ему на затылок. Глухо, тяжело. Он ткнулся лицом в пол.

И снова начал подниматься.

— Да ну нахрен!..

Наклонился, подхватил крышку. Поднял. Уронил. Снова. Снова. На затылок, в одно и то же место. Не бил — сил бить у меня не было. Поднимал и ронял, поднимал и ронял. Острый край раскола входил всё глубже.

На шестой или седьмой раз парень перестал шевелиться.

Хотел уронить крышку ещё раз, на всякий случай. Поднял, но руки отказали совсем, и крышка выпала из пальцев, скатилась на пол.

Сел рядом. Прямо на линолеум. Рядом с ним.

Дышал.

Перед глазами плыли красные круги.

Подполз к стене под окном, сел так, чтобы меня не было видно с парковки.

— Считаем, — прошептал я. — Если до пятисот никто не придёт...

Почему до пятисот? Не знаю. Пятьсот — это минут восемь. Восемь минут — это достаточно, чтобы дойти сюда от шоссе медленным шагом. Наверное.

— Раз. Два. Три...

Считал шёпотом, губами, почти беззвучно. И слушал.

— Сорок один. Сорок два...

Ветер шуршал чем-то на парковке. Обёрткой. Пакетом.

— Девяносто... девяносто один...

Где-то на шоссе что-то стукнуло. Замер. Перестал считать.

— Девяносто два. Девяносто три...

На сто шестидесяти у меня затекла нога. Тишина.

— Сто шестьдесят один...

На двухста я начал сбиваться. Двести четыре, двести пять, двести... шесть? Или я уже говорил двести шесть?

— Двести семь, — решил я. — Пусть будет двести семь.

* * *

Сколько я так просидел — не знаю. Стемнело ещё сильнее. Муха под потолком затихла. Смотрел на парня в кожаной куртке.

На его ноги.

На ногах у него были кроссовки. Белые, высокие, на липучках. Грязные, в засохшей глине, но целые. Совсем целые.

— Прости, — сказал я ему. — Тебе уже всё равно, а мне надо.

Липучки отклеились с треском. Стянул первую кроссовку. Пятка застряла, я тянул и тянул, пока она не соскочила, и я чуть не упал на спину. Вторая пошла легче.

Носки на нём были — длинные, шерстяные, серые. Снял и их. Отвернувшись. Стараясь не смотреть на его ступни.

Размотал свои обмотки. Ступни — красные, с порезами, с налипшей грязью. Вытер их краем простыни, как мог. Натянул носки. Тёплые. Господи, какие тёплые.

Кроссовки оказались на размер меньше. Вбил ногу в первую — пальцы упёрлись в носок. Поджал пальцы. Застегнул липучку. Вторая.

Куртку я тоже снял. На это ушло минут двадцать. Он был тяжёлый, его руки гнулись плохо, а мои держали ещё хуже. Тянул за рукав, отдыхал, переворачивал его на бок, отдыхал, тянул второй рукав. Кожа была старая, с трещинами на локтях. Но плотная. Тёплая.

Джинсы я пытался снять полчаса. Расстегнул ремень, пуговицу, молнию. Тянул за штанины. Джинсы ползли по сантиметру и застревали на бёдрах.

В конце концов я сел рядом и понял, что больше не могу. Совсем. Руки лежали на коленях и дрожали сами по себе.

— Ладно, — сказал я. — Хрен с ними. Мои штаны тоже штаны.

Окно надо было закрыть. Холод тянул в класс по полу, и запах.

Подоконник теперь был пустой. Дотянулся до рамы, держась за парту, и потянул её вниз. Рама шла туго, со скрипом, рывками. Повис на ней всем весом, и она наконец опустилась. Шпингалет щёлкнул.

Трещина на стекле, оставленная Дуэйном, тянулась от угла до середины. Но стекло держалось.

Постоял, держась за раму, и посмотрел на парковку. Пусто. Серые сумерки. Гэри на щите показывал мне большой палец.

Собрал всё, что разложил на парте. Ручки, карандаш, ластик, скрепки, ножницы — погнутые, но пусть будут. Спички, зажигалку, скотч. Кроссворды. Карту. Сунул в наволочку. Половинку крышки, ту, что в крови, оставил на полу.

Вышел из класса и закрыл за собой дверь.

Кабинет запирался изнутри. Ключом с бирки «Кабинет / склад». Повернул ключ два раза и подёргал ручку.

Заперто.

Окно в кабинете было маленькое, высоко, под самым потолком, с решёткой снаружи. Через такое не пролезет никто.

Сел на пол, привалился спиной к шкафу и долго смотрел на запертую дверь.

Посидел так, пока не перестали дрожать губы. Потом достал из наволочки карту, расстелил на полу под окошком, где ещё был свет, и придавил углы ключами и кроссвордами.

— Так, — сказал я. — Пока светло.

Вот автошкола. Крестик. Вот Сороковое шоссе — уходит на юг, мимо полей. Дальше, через полторы клетки на карте, — развилка. Налево — к озеру, к тому самому, куда мы с Доном ездили обгорать. Направо — грунтовка, на которой нарисованы три крошечных квадрата. Фермы.

— Где мало домов, там мало этих, — пробормотал я. — Три фермы — это три дома. Наверное.

А где фермы, там колодцы. Там погреба. Там куры, в конце концов, если их не съели.

Провёл пальцем от крестика до развилки. Полторы клетки. В клетке, судя по масштабу внизу, миля. Полторы мили.

Сегодня я прошёл от дома до автошколы километр с хвостиком. За полдня. С падением в лужу.

— Полторы мили, — сказал я. — Это ж... это полтора сегодняшних дня. Если ноги не откажут.

Пауза.

— Ноги откажут, — честно сказал я сам себе. — Значит, два дня. С ночёвкой где-то посередине.

Взял красную ручку и нарисовал от крестика стрелку. Стрелка вышла кривая.

— Пункт первый на завтра: воду из бачка с собой. Во что? — я огляделся. — Кружка. Кружка не закрывается. Ладно, потом придумаю. Пункт второй: юг, до развилки. Пункт третий... третий...

Третий я не придумал. Голова отказалась.

— Утром, — сказал я. — Третий утром.

Живот заурчал. Громко, требовательно.

— Да помню я, помню, — пробормотал я.

Отбивная.

Достал её из наволочки. Развернул плёнку. Понюхал. Пахло уже сильнее, чем утром. Мясо потемнело по краям. Но пахло ещё мясом.

Жарить. На чём?

Огонь у меня есть. Спички, зажигалка. Бумаги — целый шкаф.

Только на бумаге мясо не пожаришь. Это я знал по пятничным барбекю: бумага вспыхивает и тут же гаснет, жара от неё — как от свечки. Мясо жарят на углях.

— Дерево, — сказал я. — Где тут дерево?

Шкаф — железный. Вешалка-стойка — железная. Парты в классе — пластик на железных ногах, да и в класс я не пойду.

Стол.

Письменный стол в кабинете был старый, тяжёлый, из тёмного дерева, покрытый лаком. Три ящика справа. Ящики я ещё не открывал.

Выдвинул верхний. Резинки, скрепки, пустая пачка сигарет, засохшая ручка. Средний — пустой. Нижний — книжка квитанций и чей-то обед в бумажном пакете. Развернул пакет с надеждой. Сэндвич. Зелёный, мохнатый, со следами чьих-то зубов на краю. Завернул его обратно и отложил на шкаф подальше.

Ящики вынимались целиком. Вытащил все три и поставил на пол. Дерево. Сосна, судя по весу, под тёмным лаком. Стенки толщиной в палец, дно из тонкой прессованной плиты.

Теперь — на чём держать?

Огляделся. Вешалка-стойка в углу. Три проволочные вешалки-плечики.

Снял одну и начал разгибать. Пальцы скользили, проволока впивалась в ладонь. Раскрутил крючок. Выпрямил. Получился прут сантиметров семьдесят, кривой, с загнутым концом.

— Шампур, — сказал я. — Шашлык.

Теперь — где жечь?

В кабинете — нельзя. Дым. Закрытая комната, маленькое окно под потолком. Задохнусь.

В классе — два больших окна на парковку. Огонь увидят с дороги. А может, и не увидят — я не знал, идут ли они на свет. Знал только, что идут на звук. И проверять это сейчас, ночью, с двумя телами на полу, мне не хотелось.

Туалет. Без окон. Кафель — не загорится. Дверь можно приоткрыть, дым уйдёт в коридор.

— Ну, туалет, — решил я.

* * *

Ящики надо было разломать. Целиком в урну они не влезали.

Затащил их в туалет по одному и закрыл дверь. Сел на пол.

Ломать — это треск. Треск — это звук.

— Тихо, — сказал я себе. — Тихо и медленно. Без ударов.

Сначала дно. Плита сидела в пазах. Поддел заднюю стенку погнутыми ножницами — гвоздики выходили с тонким скрипом, по одному. Задняя стенка отошла. Дно выползло из пазов целиком, как противень из духовки.

— Вот так. Вот так...

Плиту я положил краем на унитаз и надавил сверху ладонями. Медленно, всем весом. Она прогнулась. Прогнулась сильнее.

Хрусть.

Глухо, но в тишине — как выстрел из детского пистолета. Замер с двумя половинками в руках.

— Раз. Два. Три...

Досчитал до пятидесяти. Тишина.

Вторая половинка. Хрусть.

Со стенками было хуже. Сосна, толщиной в палец, сбита гвоздями по углам. Клал стенку поперёк унитаза, вставал на неё коленом и давил. Колено ныло. Стенка гнулась, скрипела и держалась.

— Ну... ну давай же...

Трещ!

Длинный, сухой, раскатыстый. Стенка лопнула вдоль волокон. Упал на неё грудью и так и лежал, не дыша.

Тишина.

На три ящика ушло больше часа. В конце у меня была куча щепок, обломков плиты и шесть палок, ровных, лакированных, сантиметров по сорок.

Урна была металлическая, круглая, с сеткой по бокам. Вытряхнул из неё бумажные полотенца, оставил немного на дне. Снизу — щепки и обломки плиты, шалашиком, как учили в скаутах, откуда меня выгнали через месяц за то, что я спалил палатку.

Чиркнул зажигалкой.

Бумага занялась сразу. Огонь вспыхнул, осветил кафель, зеркало, унитаз, половинку крышки на полу. Отшатнулся от зеркала. Из него на меня смотрел заросший мужик в кожаной куртке с чужого плеча, с серым лицом и красными глазами.

Щепки от плиты занялись быстро. Пламя поднялось, затрещало. И запахло.

Сначала просто дымом. Потом — чем-то сладким, химическим. Клей, которым была спрессована плита. Дым стал гуще, желтоватый, и полез вверх, под потолок.

Подкинул лакированную палку.

Лак вздулся пузырями. Почернел. Зашипел. И от него повалил чёрный дым — жирный, едкий, с запахом горелой пластмассы и растворителя.

Вдохнул — и меня согнуло пополам.

Кашель рвал горло. Глаза резало, как будто в них сыпанули перца. Слёзы текли сами. Кашлял, кашлял, и каждый вдох втягивал в лёгкие ещё больше этой дряни.

Дым уже висел под потолком плотным серым одеялом. Он опускался. Зеркало исчезло. Лампа на потолке исчезла.

Голова закружилась.

Дверь. Дверь!

Нашупал ручку, толкнул. Дверь открылась в коридор. Вывалился на четвереньках, кашляя, и отполз от двери на пару метров.

Лежал на полу коридора. Дышал. Кашлял. Дышал.

Из туалета ползли серые клубы. Расползались по потолку коридора.

— Идиот, — хрипел я. — Лак... Лак, мать его... Ты же видел, что он лакированный... И вспомнил инструктаж.

Раз в год в страховой нас сгоняли в переговорную и полчаса рассказывали про пожарную безопасность. Обычно спал с открытыми глазами. Но кое-что застряло. Дым поднимается вверх. Внизу, у пола, воздух чище. Мокрая ткань на лице.

— Ползком, — прошептал я. — Ну спасибо, Линда из отдела кадров. Пригодилось.

Оторвал от простыни полосу и вернулся к туалету на четвереньках, держа голову у самого пола. Здесь, внизу, дышать было можно. Едко, горько, но можно.

Дополз до бачка. Сунул тряпку в воду. Отжал. Повязал на лицо, закрыв нос и рот.

Дышать стало чуть легче. Тряпка пахла ржавчиной.

Дверь я так и оставил открытой — подпёр её обломком плиты. Дым медленно вытягивало в коридор.

Огонь в урне горел ровно, гудел. Лак на палках догорал, пузырился, и чёрный дым становился серым.

Лежал на полу у двери и ждал.

Мистер Маккензи каждый раз орал на тех, кто совал сосиски в открытый огонь.

Дважды я выползал в коридор, когда тряпка высыхала и горло снова начинало драть. Отлёживался у двери кабинета, где воздух был почти чистый. Мочил тряпку. Возвращался.

Голова болела так, будто в неё забивали гвозди. Тошнило.

Огонь спал минут через сорок. Дым поредел, стал белёсым, почти прозрачным. На дне урны осталось оранжевое, пульсирующее. Угли. Немного, на дне, с ладонь. Но угли.

— Ну наконец-то, — прохрипел я.

Положил проволоку поперёк урны, загнутым концом на край, и насадил отбивную.

Жир зашипел на углях. Сквозь гарь, сквозь химию, сквозь ржавую тряпку на лице запахло жареным мясом.

Закрыв глаза. Этот запах... Барбекю. Пятница. Пиво. Футбол.

Угли тускнели. Подбросил скомканных тестов — для жара, понемногу.

«Вы приближаетесь к перекрёстку. Сигнал светофора — жёлтый мигающий. Ваши действия?»

В угли.

«Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Ваши действия?»

В угли.

— Мои действия, — бормотал я в тряпку, подкладывая лист за листом, — сжечь вас всех. Кто вообще это придумывал.

Сколько жарить свинину? Пока не станет серой внутри. Это я помнил из того самого доклада про паразитов. Серая — значит, можно.

Переворачивал отбивную проволокой. Жарил, пока угли не стали тёмно-красными, а потом совсем тусклыми.

Наконец снял. Подул. Сдвинул тряпку с лица. Отломил кусок с краю.

Серая. Внутри серая.

Откусил.

Жёсткая. Подгорелая с одного бока, несолёная. Пахнет дымом. И где-то в глубине, на самом краю вкуса, — горьковатый привкус лака.

Самое вкусное, что я ел в жизни.

Съел половину. Жевал медленно, долго, каждый кусок. Потом остановился. Посмотрел на вторую половину.

— Завтра, — сказал я. — Это уже на завтра.

Завернул в бумажное полотенце и положил в наволочку.

Угли в урне почти погасли. Потом зачерпнул кружкой воды из бачка и вылил на угли. Подумал. Зачерпнул ещё одну.

Пш-ш-ш.

Белый пар, вонь мокрой золы. Заглянул в бачок. Воды осталось на доньшке. Литр, может, полтора.

— На утро, — сказал я. — Литр на утро.

В кабинете я запер дверь на два оборота. Подёргал ручку. Ещё раз подёргал.

Лёг на пол, между столом и шкафом. Кожаную куртку натянул до подбородка. Под голову положил наволочку — в ней хрустнули кроссворды и газета.

Было темно. Совсем темно.

Лежал и слушал.

Тишина. Ветер. Где-то далеко, за шоссе, кричала ночная птица.

Из класса не доносилось ни звука.

Утром я не мог сесть на кровати. Пластырь от катетера отдирает полчаса.

Вечером я убил двоих.

Лежал и пытался уложить это в голове. Получалось плохо. Эти две вещи не помещались в один день, как не помещаются в один чемодан зимнее пальто и надувной круг.

За тридцать девять лет я ни разу никого не ударил. Даже в школе — Ронни Пратт дрался за нас двоих, а я стоял рядом и держал его рюкзак. На работе я всегда уступал. Келлер из отдела претензий дважды выдал мои расчёты за свои, и оба раза я промолчал, потому что «не стоит портить отношения». Карен, когда уходила, сказала: «С тобой удобно. Только жить с тобой — как с мебелью». И тогда я промолчал.

А сегодня я воткнул человеку ножницы в глаз.

Человеку... Дуэину. Тому, что от Дуэйна осталось.

Не знал, кем я стал за этот день.

— Кто ты такой, — прошептал я в темноту.

За стеной, в классе, медленно капало.

Глава 3

Проснулся я от боли.

Болело всё сразу: плечи, спина, бёдра, кисти рук, даже пальцы на ногах, поджатые всю ночь в тесных кроссовках. Горло драло, будто я полоскал его наждачной бумагой. В голове гудело.

Лежал на полу кабинета и смотрел в окошко под потолком. Окошко серело. Утро.

— Живой, — прохрипел я. Голос сел совсем. — Живой. Уже неплохо.

Попробовал сесть. Спина отозвалась так, что я охнул и лёг обратно.

— Ладно. Медленно.

Повернулся на бок. Подтянул колени. Встал на четвереньки. Оттуда, держась за край стола, — на ноги.

Постоял, держась за него, пока не перестало плыть перед глазами.

— Пункт первый, — сказал я. — Вода. Пункт второй — завтрак. Пункт третий... — я нащупал в кармане ключи, — склад.

Склад я вчера не открыл.

В туалете ещё воняло гарью. Кафель над урной закоптился чёрным пятном, зеркало подёрнулось мутной плёнкой.

Зачерпнул кружкой из бачка. Вода пахла дымом — видимо, впитала за ночь. Пил медленно, маленькими глотками. Горло саднило от каждого глотка.

Три кружки. Четвёртую я зачерпнул и посмотрел на бачок. На дне оставалось совсем чуть-чуть, с ржавой мутью.

— А это с собой, — сказал я. — Только куда?

Выпил и четвёртую.

Отбивную доел, сидя на крышке унитаза. Холодную, жёсткую. Жевал долго, каждый кусок, пока челюсть не заныла.

— Ну всё, — сказал я, облизывая пальцы. — Еды больше нет.

Дверь склада была в конце коридора, за туалетом. Ключ повернулся туго, со скрипом.

Внутри было темно. Окон нет. Пахло резиной и пылью. Оставил дверь открытой, чтобы шёл свет из коридора, и стоял на пороге, пока глаза не привыкли.

Конусы. Оранжевые дорожные конусы, штук двадцать, вставленные один в другой. Стойка с полосатыми флажками. Две лысые покрышки у стены. Какие-то таблички — «Учебное транспортное средство», «Осторожно, ученик».

— Ну, Гэри... — пробормотал я. — Богатый у тебя склад.

На полке у двери стояла белая пластиковая коробка с красным крестом.

Аптечка.

Схватил её так, что чуть не уронил. Открыл.

Пусто. Почти. Кто-то выгреб всё — пластыри, таблетки, ножницы. На дне остались только рулон бинта, слегка помятый, и пузырёк с йодом, коричневый, на треть полный.

— Йод, — сказал я. — Йод — это хорошо.

Сел на лысую покрышку, задрал штанину. Размотал вчерашнюю полосу простыни. Царапина от гвоздя покраснела по краям, вспухла.

Открутил крышечку и капнул йод прямо на царапину.

Ногу будто кипятком ошпарили.

— С-с-с-с... ох ты ж... с-сука...

Сидел на покрышке, вцепившись в колено, и шипел, пока жжение не начало стихать. Потом обмазал йодом и палец после занозы. И ранку от катетера на локте.

Бинтом замотал ногу. Ровно, аккуратно. Последний виток закрепил куском скотча.

— Вот, — сказал я. — Как в больнице. Почти.
Пузырёк с йодом и остаток бинта сунул в наволочку.
Выйти из здания можно было только одним способом.
Входная дверь — заперта. Ключа от неё на связке не было, я проверил трижды. Окошко в кабинете — под потолком, с решёткой. Окна в коридоре — нет. В туалете — нет.
Остался класс.
Стоял перед закрытой дверью класса и держался за ручку.
Запах ударил первым. Сладкий, тяжёлый, с подкладкой из чего-то кислого. За ночь он набрал силу. Зажал нос рукавом куртки.
Утренний свет из окна падал прямо на них.
Дуэйн лежал у окна, на боку, подогнув руку. Парень в джинсах лежал лицом вниз посреди класса, босой. Над его затылком на полу засохла тёмная лужа, и в ней лежала половинка крышки.
Вчера, в сумерках, это было... просто тела. Сейчас при свете было видно всё. Цвет кожи. Пятна. Мухи — три штуки, они ползали по засохшей луже.
Стоял на пороге и не мог сделать шаг.
— Иди, — шептал я себе. — Иди. Пять шагов до окна. Глаза в окно, и всё.
Пошёл. Вдоль стены, подальше от парня в джинсах. Под ногой хрустнул какой-то лист — тест, наверное, — и я дёрнулся, как от выстрела.
До окна дошёл. Взялся за раму обеими руками.
— Шпингалет... шпингалет...
Щёлкнул. Потянул раму вверх.
Оглянулся.
Зря.
Парень в джинсах лежал, повернув голову набок. Глаз был открыт. Мутный, серый, засохший.
Меня качнуло. Схватился за подоконник. Сглотнул. Ещё раз сглотнул.
— Извини, — сказал я ему. Не знаю, зачем. — Извини, что так. Кроссовки хорошие. Я буду в них ходить. Честно.
И полез в окно.
Снаружи было холодно и сыро. Небо низкое, серое, без солнца. Туман лежал в низинах полосами.
Сел под стеной автошколы, спиной к кирпичу, и долго дышал. Вдох через нос. Выдох через рот. Запах класса понемногу выветривался из носа.
Шоссе было пустое. Справа, со стороны города, — ни звука. Слева, на юг, — лента асфальта уходила в туман.
Вдоль шоссе, метрах в пятидесяти от обочины, тянулась лесополоса. Тополя и кустарник. Голые ветки, но густо.
До лесополосы — пятьдесят метров открытого поля. Посмотрел налево, направо. Подождал. Пошёл.
Шагов через шестьдесят я заметил, что ещё не устал. Ну — устал, конечно. Ноги ныли, спина ныла. Но вчера на сороковом шаге я бы уже искал, куда сесть, а сегодня...
— Семьдесят восемь, — сказал я с гордостью, садясь под первый тополь. — Вчера — сорок. Это рост. Это почти в два раза. Ещё неделя — и я марафон пробегу.
Сидел под тополем и прикидывал, как идти дальше. Вдоль лесополосы или по обочине.
— Обочина, — бормотал я. — Лесополоса — кусты. Кусты лучше. Если выскочит бегун, в кустах у меня хоть секунда будет...
Сидел и прикидывал это с таким лицом, с каким восемь лет решал, оформлять клиенту полис или отказать.

«Ну ты и страховщик», — сказал Дон.

Вздрогнул и оглянулся.

Никого. Тополя, туман, пустое шоссе.

Дон был у меня в голове. Хрипловатый, весёлый голос с южным протягом. Дон из бухгалтерии, единственный человек на работе, с которым я ходил пить пиво. Он говорил это каждый раз, когда я отказывался от второй кружки, потому что «завтра на работу», или пересчитывал сдачу в баре.

— А что такого? — сказал я вслух. — Работает же.

«Работает, — согласился Дон. — Ты вчера из бачка унитаза пил».

— Это форс-мажор, — сказал я. — Обстоятельства непреодолимой силы.

«Ну-ну».

Лесополоса шла ровно на юг, параллельно шоссе. Под ногами — прошлогодняя листва, мокрая, мягкая. Кроссовки скоро промокли, но хотя бы не резало ступни.

Шёл медленно. Отдыхал у каждого десятого дерева. И смотрел под ноги — на корни и на траву.

Что едят в лесу?

Месяц в скаутах. Тот самый месяц, после которого меня выгнали за сгоревшую палатку. Скаутмастер — лысый, с пушистыми усами, мистер... мистер Гловер? — водил нас по лесу и показывал всякую траву. Тогда я больше думал про девочек из соседнего отряда. Но что-то застряло.

Крапива. Её можно есть. Варёную — точно. Сырую — если помять, чтобы не жглась.

Одуванчики. Листья. Горькие, но можно.

Жёлуди. Их можно, но... что-то с ними было не так. Мистер Гловер что-то говорил. Вымачивать. Да, вымачивать, долго, несколько дней, меняя воду.

— Несколько дней, — сказал я. — У меня нет нескольких дней. И воды нет.

Крапива нашлась первой. Молодые побеги вдоль канавы, ярко-зелёные, мне по щиколотку. Присел, сорвал верхушку. Пальцы обожгло.

— Ай! Твою...

Перчаток не было. Обмотал руку полкой куртки и рвал так, через кожу. Набрал горсть. Сел на поваленное бревно и начал мять крапиву в ладонях. Мял, пока листья не потемнели и не стали мягкими.

Положил в рот.

Вкус — как у шпината, который неделю пролежал в холодильнике. Травяной, немного кислый. Где-то на языке всё равно кольнуло — недомял.

— Шпинат, — сказал я, жуя. — Это шпинат. Полезный. Барбара из нашего отдела ела шпинат каждый день и прожила... ну, она ещё жива, наверное. Если...

Замолчал. Барбара сидела через два стола от меня. У неё были фотографии внуков на мониторе.

Где сейчас Барбара?

Доел крапиву. Набрал ещё горсть.

Одуванчики нашлись на краю поля. Листья были горькие до слёз. Жевал, морщился и глотал. Цветы оказались слаще. Жёлтые, мягкие. Ел их целиком, вместе с зелёным донышком.

Под дубом лежали жёлуди. Много. Прошлогодние, коричневые, некоторые треснули и пустили росток.

Расколол один о камень, выковырял ядро. Откусил кусочек.

Горечь была такая, что свело скулы. Будто откусил кусок аспирина.

— Да, мистер Гловер, — прохрипел я, отплёвываясь. — Вымачивать. Понял.

Но всё-таки съел пять штук. Медленно, разжёвывая до кашицы. Горько, мерзко, но сытно. В желудке потяжелело.

Ещё горсть набрал в наволочку.

Гусеницу я увидел на стволе тополя, на уровне глаз. Зелёная, толстая, в палец длиной, с белыми точками по бокам. Ползла вверх, перебирая присосками.

Смотрел на неё.

Ведущий той передачи по кабельному — англичанин с бородой, который выживал то в пустыне, то в джунглях, — ел личинок горстями. Жевал и рассказывал на камеру про белок. Про то, сколько в них питательного.

Тогда смотрел это с пивом на диване и говорил: «Фу, бля».

— Фу, бля, — сказал я и сейчас.

И снял её со ствола двумя пальцами.

Она извивалась.

— Так, — сказал я. — Так. Ты восемь лет ел корпоративную запеканку по четвергам. Ты справишься.

Зажмурился и положил её в рот.

Раскусил.

Хрустнула. Внутри что-то лопнуло — мягкое, тёплое, сладковатое. С привкусом травы.

Жевал с зажмуренными глазами. Желудок подпрыгнул, я задержал дыхание. Проглотил.

Открыл глаза.

— Белок, — прошептал я. — Чистый белок. Мистер Бородатый Англичанин, ты гордился бы мной.

Сидел и ждал, вывернет или нет. Не вывернуло.

— Я об этом никому не расскажу, — сказал я. — Надеюсь, конечно что вообще кто-то остался, кому рассказывать.

Машину я увидел, когда сквозь деревья опять показалось шоссе.

Серый седан стоял на обочине, двумя колёсами в кювете. Капот смотрел на юг. Задняя дверь открыта настежь. Остальные закрыты.

Сел за тополем и смотрел на него минут пять.

Машина. В машинах бывает всякое. Бутылка воды в двери. Шоколадка в бардачке. Аптечка в багажнике. Батарейки.

— Пятьдесят метров, — прошептал я. — Пятьдесят туда, пятьдесят назад. Посмотрю — и всё.

И пошёл к шоссе. Медленно, пригибаясь, насколько позволяла спина. На полпути остановился, прислушался. Тихо.

Метров за двадцать я разглядел, что на заднем сиденье стоит детское кресло. Синее, с жёлтыми звёздочками. Пустое. Ремешки кресла болтались, расстёгнутые.

А за рулём кто-то сидел.

Встал я как вкопанный.

Мужчина. Затылок, плечи в клетчатой куртке. Сидел прямо, неподвижно, руки на коленях.

Потом он медленно повернул голову.

Лицо серое, щёки ввалились. Глаза мутные. Он смотрел на меня через боковое стекло, и рот у него открывался и закрывался. Беззвучно.

Он дёрнулся ко мне — и не сдвинулся. Ремень безопасности. Его держал ремень. Он дёргался всем телом, ремень врезался в плечо, а он дёргался снова. Руки скребли по подголовнику.

Пятился, не отрывая от него глаз.

Кто-то отстегнул ребёнка и вынес. И ушёл. А его оставили. Пристёгнутым.

Дошёл спиной до деревьев и сел за тополь. Колени тряслись.

— Нет, — шептал я. — Нет, туда я не полезу. Ни за водой, ни за шоколадкой. Даже за батарейками.

Он там. Он будет там. Ремень его держит — а если не удержит? А если я сунусь к бардачку, и он дотянется?

Достал карту. Нашёл шоссе, нашёл примерно это место. Нарисовал маленький квадратик и рядом — крестик. Подумал. Подписал карандашом мелко: «Машина».

Сидел за тополем и смотрел на седан.

Авария. Обычная авария. Сколько я таких видел в страховых делах — сотни. «Водитель не справился с управлением». «Транспортное средство съехало в кювет».

А я?

Мысль пришла неожиданно, как удар.

Как я попал в кому?

Два дня. Два дня я ползаю, прячусь, убиваю — и ни разу не спросил себя об этом. Как будто кома — это погода. Просто случилась.

Авария? Инсульт? Упал с лестницы? Ударили по голове?

Закрыв глаза. Последний день. Самый последний, который помню ясно.

Офис. Четверг, кажется. Нет, пятница — Дон по пятницам приносил пончики. Да. Коробка с пончиками на подоконнике в бухгалтерии. Взял с глазурию. Дон пошутил про мою рубашку. Сидел я над договором какой-то автомастерской. Вечер. Выключил компьютер...

Дальше — туман.

Густой, серый. Как будто там, за ним, что-то есть, но смотреть больно. Над правым ухом зануло — тупо, глубоко, будто кто-то давил туда большим пальцем.

Открыл глаза. Боль постояла и отпустила.

«Брось, страховщик, — сказал Дон. — Не сейчас. Ты тут в кустах сидишь в пятидесяти метрах от мертвяка».

— Да, не сейчас, — согласился я.

Но вопрос остался. Застрял, как заноза под ногтем.

* * *

К полудню лесополоса упёрлась в лес.

Настоящий лес — дубы, клёны, сосны, густой подлесок. Шоссе уходило вправо, в обход. Лес тянулся вперёд, на юг, сколько хватало глаз.

Сел на опушке и достал карту.

Вот автошкола. Вот шоссе. Вот лес — зелёное пятно. Шоссе огибает его по большой дуге. А если напрямую, через лес, то выходишь к дороге снова, уже за дугой. Срезаешь, наверное, полмили.

— Полмили, — сказал я. — Это ж треть дня. Через лес.

В лесу нет домов. В лесу нет людей. Значит, в лесу нет этих. Логично?

Логично.

«Логично, — передразнил Дон. — Помнишь озеро? "Там точно клюёт, Дон, логично же". Шесть часов на солнце, ноль рыбы, два ожога».

— Помню, — сказал я. — Это другое.

«Ага».

— Через лес, — решил я.

В лесу было тихо и сумрачно. Пахло прелой листвой и сосновой смолой. Где-то стучал дятел — гулко, размеренно.

Шёл между деревьями, обходя бурелом, и считал шаги. Через каждые восемьдесят — привал.

На четвёртом привале я сидел на поваленной сосне и жевал жёлудь, когда услышал шарканье.

Замер с жёлудем во рту. Сполз за ствол.

Шарк. Шарк. Хруст ветки. Шарк.

Сквозь подлесок, метрах в тридцати, показались ноги. Чьи-то ноги в джинсах. Потом ещё одни — в спортивных штанах. Потом босые, серые.

Они шли цепочкой.

Один за другим, с интервалом в несколько шагов. Медленно, вперевалку. Все в одну сторону — на восток. Как туристы за гидом.

Мужик в джинсах и рваной фланелевой рубашке. Тощий подросток в спортивках. Старик босиком, в пижаме. Толстая женщина в розовом свитере. Последней — женщина в длинном пальто. Немолодая, полная, седые волосы растрёпаны. На плече — ремень, а на ремне болтается термос. Большой, металлический, тёмно-зелёный, с пятнами вмятин.

Они прошли мимо меня. Метрах в двадцати.

А я лежал за стволом и смотрел на термос.

Тёмно-зелёный, металлический. Болтался у неё на ремне при каждом шаге — туда, сюда.

Подумал о том, что утром пил из бачка, пока в меня лезло, — потому что не в чем было унести.

— Нет, — прошептал я сам себе. — Ты с ума сошёл. Их пятеро.

Пятеро. А я один. И у меня палка от швабры и погнутые ножницы.

Цепочка уходила. Женщина в пальто шла последней. Отставала. Между ней и толстой в розовом свитере было уже шагов десять.

Если она отстанет ещё...

— Нет, — сказал я. — Нет, нет, нет.

Никак её не убить. Палкой от швабры — тем более. Ножницы погнуты. Вчера Дуэйна остановил только удар в глаз, а парня в куртке — только крышка от бачка, на затылок.

Нужно что-то тяжёлое.

Оглянулся на свою поваленную сосну. Её вывернуло с корнем, и корни торчали вверх огромной растопыренной лапой, облепленной землёй. В земле, между корнями, серели камни.

Подполз к корням. Выбрал камень — плоский, размером с буханку хлеба. Он сидел в глине крепко. Поддел его палкой, раскачал и выковырял пальцами, обдирая ногти.

Камень вывалился мне на колени. Тяжёлый. Килограмма три. Как половинка крышки вчера.

Поднял его двумя руками. Руки задрожали, но подняли.

— Ладно, — прошептал я. — Ладно.

Положил камень в мох у самого ствола, с той стороны, где лежал. Чтобы взять одним движением.

Сосна лежала поперёк — невысокая, по колено.

Полз метров двадцать, на брюхе, по мху и листьям. Медленно. Цепочка уходила, и женщина в пальто отставала всё больше. Тридцать шагов от розового свитера. Сорок.

Когда розовый свитер скрылся за деревьями, я встал на колени.

Сердце колотилось так, что отдавало в зубах.

— Ну, — прошептал я. — Ну, с богом.

И хлопнул в ладоши. Один раз. Негромко.

Женщина в пальто остановилась. Медленно, всем корпусом, развернулась.

Посмотрела на меня мутными глазами.

Остальные ушли дальше, на восток, даже не замедлились.

— Сюда, — прошептал я, отступая. — Сюда, сюда. Ко мне. Иди...

Пятился назад, к своей сосне. Она шла. Медленно, ровно, руки вперёд. Пальцы шевелились. Термос стучал о бедро.

Двадцать шагов пятиться — это долго. Дважды споткнулся и один раз чуть не сел в мох. Она не ускорялась. Шла и шла.

Вот сосна. Перешагнул через ствол, нащупал ногой камень в мху. Встал рядом с ним, в шаге от ствола.

— Ну давай, — сказал я. — Давай. Иди сюда.

Она дошла до сосны. Упёрлась в неё ногами.

И рухнула вперёд, лицом в листья, прямо мне под ноги. Руки так и остались вытянуты, она даже не выставила их.

Ноги у неё остались за стволом, а голова лежала у моих кроссовок. Она загребла руками листья, начала подтягивать колени.

Наклонился, схватил камень двумя руками. Поднял над головой. Руки затряслись.

И отпустил.

Камень ударил её в затылок. Глухо, тяжело. Она ткнулась лицом в листья. И продолжила ворочаться.

Снова поднял камень. Уронил. Поднял. Уронил.

На третий раз что-то хрустнуло.

Она замерла.

Отступил. Упёрся спиной в соседнее дерево.

Термос висел на ремне через её плечо. Ремень пришлось отстёгивать — карабин заклинило, пальцы соскальзывали. Провозился минут пять.

Наконец карабин щёлкнул.

Термос был тяжёлый. На боку, под вмятинами, читалась выцветшая надпись: «Скаут-Термо. Горячо 24 часа!». Потряс его. Внутри булькнуло.

Отвинтил крышку-стаканчик. Потом пробку.

Запахло кофе. Холодным, старым, с кислинкой.

Налил в крышку. Тёмно-коричневое, мутное. Понюхал. Кофе. Пролежал неизвестно сколько, но кофе. С сахаром — на краю стаканчика остался сладкий налёт.

Пить или нет?

Отпил глоток.

Кислый. Горький. Холодный. Сладкий.

Мерзость.

Выпил весь стаканчик. Налил ещё. Выпил. Налил ещё — последний, на дне осталась гуща.

— Спасибо, — сказал я ей. Она лежала лицом в листьях, седые волосы рассыпались. — Спасибо за кофе.

Сахар. Две ложки, не меньше. Кто-то положил ей. Утром, перед выходом. Закрутил крышку.

Отец пил с двумя.

Мне было лет десять. Мы с отцом ездили на рыбалку, на то самое озеро, в пять утра, когда ещё темно. А мама вставала раньше нас. Варила кофе — отцу, в большой клетчатый термос, с двумя ложками сахара. Мне — какао, в маленький. Заворачивала бутерброды в фольгу. Стояла на крыльце в халате и махала нам, пока машина не сворачивала за угол.

Мама.

Сидел я над мёртвой женщиной со стаканчиком в руке и вдруг понял.

Два дня. Два дня я ни разу не подумал о маме.

Где она? После смерти отца она переехала в Боулинг-Грин, поближе к сестре. Маленький дом с верандой. Два часа езды от Роузвуда.

Жива ли она? Знает ли, что я... что я был... Звонил ли ей кто-нибудь?

Кто-то же менял мне капельницы. Кто-то подрезал ногти. Может, этот кто-то и маме звонил?

Кофе в стаканчике пошёл мелкой рябью. Это у меня тряслась рука.

Пальто было длинное, плотное, тёмно-синее. Хорошее пальто. Посмотрел на него. Посмотрел на свою кожанку.

Снимать пальто с неё, тяжёлой, неподвижной, у меня не хватит сил. Это я знал по джинсам вчерашним. Полчаса — и ничего.

— Оставь себе, — сказал я.

Термос я повесил себе на шею, на её ремне. Он стукнулся о грудь, пустой и лёгкий.

* * *

Лес кончился часа через два. Вышел к полю, и за полем, в километре, серело шоссе. Солнце так и не выглянуло. Но небо уже темнело. Вечер.

На краю поля, у самой опушки, стоял сарай.

Дощатый, серый от дождей, с крышей из рубероида. Двустворчатая дверь, на ней — навесной замок, ржавый, на железной петле. Сбоку — маленькое окошко, сантиметров сорок на сорок, без стекла, приоткрытая деревянная ставенка.

Под углом крыши стояла бочка. Ржавая, железная, на двух кирпичах. Над ней — жестяной желоб водостока.

Подошёл к ней. Заглянул.

Вода. Полбочки воды. Тёмной, с плавающими листьями и дохлым жуком. Но вода.

— Господи, — сказал я. — Господи, у тебя сегодня хорошее настроение.

Сначала сарай.

Обошёл его кругом. Медленно, прислушиваясь. Постучал костяшками по доскам — вроде тихо.

Замок на двери был закрыт снаружи. Значит, внутри никого.

А окошко...

Сорок на сорок. Высоко — мне по грудь.

— Ты не пролезешь, — сказал я себе. — С таким пузом. Не пролезешь.

Подтащил к окошку деревянный ящик, валявшийся у стены. Встал на него. Сунул в окошко голову. Внутри темно, пахнет машинным маслом и сырым деревом.

Живот застрял.

Висел в окошке — голова и руки внутри, ноги снаружи. Ящик из-под ног уехал. Болтал ногами в воздухе и не мог сдвинуться, ни вперёд, ни назад.

— Ну... ну... — пытал я.

Выдохнул весь воздух из лёгких разом. Живот втянулся. Рванулся вперёд — и провалился внутрь.

Упал на что-то мягкое. Мешки.

Лежал в темноте на мешках и дышал.

— Пролез, — прохрипел я. — Пролез, мать его.

Глаза привыкли к темноте не сразу. Из окошка падал серый вечерний свет.

Сарай был маленький, метра три на четыре. Верстак у стены. Полка над верстаком. В углу — стопка пустых мешков из-под удобрений, на которые я и упал. На каждом — улыбающийся помидор и слоган: «Гроу-Макс. Растёт как на дрожжах!»

В углу, за мешками, стояли грабли без двух зубьев.

На поперечной балке над верстаком кто-то нацарапал гвоздём палочки. Пачками по пять, перечёркнутые. Насчитал четыре пачки и ещё три. Двадцать три. Рядом — буква «Р.» и больше ничего.

Под верстаком стояла консервная банка, полная окурков. Рядом — пустая банка из-под фасоли, с ложкой внутри. Ложка была чистая, вылизанная.

Двадцать три дня здесь кто-то жил. Потом ушёл и запер дверь снаружи на замок.

Ключ от замка где-то был. У кого-то.

На верстаке лежали рабочие перчатки. Толстые, брезентовые, с прорезиненными ладонями. «Для лёгких садовых работ». Натянул их сразу. Крапиву — теперь можно спокойно рвать.

Рядом с перчатками — моток бельевой верёвки. Метров десять, жёлтая, синтетика.

Подержал её в руках. Зачем она мне?

— Не знаю, — сказал я. — Зато лёгкая. Беру.

На полке стоял фонарь. Большой, жёлтый, прорезиненный, с ручкой сверху.

— О-о-о-о!

Схватил его. Щёлкнул выключателем.

Темнота.

Щёлкнул ещё раз. Ещё. Открутил крышку отсека.

Пусто. Пыль и пружинка.

— Ну конечно, — сказал я.

Потом подумал.

Батарейки — найти проще, чем фонарь. Батарейки — они везде. В пультах, в часах, в игрушках, в радио.

Фонарь я всё-таки сунул в наволочку. Наволочка распухла и затрещала.

* * *

Воду я набирал уже в сумерках.

Вылез через окошко ногами вперёд: сложил изнутри мешки стопкой, встал на них, просунул в окошко ноги и долго елозил по раме, нащупывая снаружи ящик. Нашупал. Сполз. Подошёл к бочке.

Сначала сполоснул термос — внутри осталась кофейная гуща. Плеснул туда воды из бочки, поболтал, вылил. Ещё раз. Гуща выходила коричневыми хлопьями.

Оторвал от простыни последний кусок. Сложил вчетверо. Натянул на горлышко термоса и прижал пальцами.

Фильтр.

Мистер Гловер, скаутмастер, показывал нам это. Или я видел в передаче про бородатого англичанина. Неважно. Тряпка задержит листья и жуков. А всё остальное...

Черпал воду кружкой и лил через тряпку в термос. Медленно. Тряпка темнела, на ней оставались листья, какие-то нитки, мелкий мусор.

Термос наполнился. Литра полтора, наверное.

Завинтил пробку. Крышку-стаканчик. Потряс.

Не булькает. Полный.

Потом напился сам. Через ту же тряпку, прямо кружкой. Вода была холодная, с привкусом ржавчины и прелых листьев.

Посмотрел на сарай.

— А еда... еда — жёлуди. Горькие. Ну и ладно.

Прежде чем лезть обратно, я сел на ящик у бочки и высыпал из наволочки жёлуди.

— Вымачивать, — сказал я. — Мистер Гловер говорил — вымачивать. Несколько дней. Меняя воду.

Несколько дней у меня не было. Но одна ночь — была.

Колол жёлуди о кирпич под бочкой. По одному. Скорлупа трескалась, ядро выковыривалось ногтем.

Залил дождевой водой через тряпку.

Вода сразу стала мутно-коричневой, как слабый чай.

— Вот, — сказал я. — Это горечь выходит. Танин. Или как его там. Утром слить, налить новой. Будет не так мерзко.

Поставил кружку на ящик и накрыл её сверху ладонью. Потом сообразил, что ночью она будет стоять снаружи, а я внутри.

Пришлось лезть в сарай с кружкой в руке. Через окошко. Втягивая живот. Расплескал половину воды себе на штаны.

— Да чтоб тебя...

Внутри поставил кружку в угол, у стены. Сел на мешки.

Последний серый свет падал из окошка квадратом на пол. Развернул карту в этом квадрате.

Приложил большой палец к карте. Сустав пальца — примерно полмили по масштабу.

От автошколы до сарая — два с небольшим сустава. Чуть больше мили.

Вчера — километр. Сегодня — почти два.

До развилки, судя по карте, оставалось меньше полумили. Вчера я думал, что дойду до неё за два дня. Похоже, дойду завтра к обеду.

— Не зазнавайся, — сказал я себе. — Сегодня у тебя была отбивная. Завтра у тебя будут жёлуди. На желудях далеко не уйдёшь.

Поставил на опушке крестик. Красный. Рядом карандашом: «Сарай. Бочка с водой».

Сложил карту.

Внутри стало совсем темно.

Постелил мешки на пол. Три слоя. Лёг. Ещё три мешка накинул сверху. Они хрустели, пахли химией и пылью. Но держали тепло.

Где-то далеко ухнула сова.

Думал о женщине в пальто. О том, кто варил ей этот кофе утром.

О маме на крыльце в халате.

Сова ухнула снова.

Лежал и слушал. Ждал шагов. Если щёлкнет замок — что я ему скажу?

Решил, что скажу правду. Потом — что сначала спрячусь за мешками. Потом снова — что правду.

Так и уснул.

* * *

Проснулся от того, что дёрнули замок.

Темнота была полная. Звякнула дужка о петлю. Ещё раз. Дверь качнулась внутрь на палец и встала — держал замок.

Ключом никто не звенел. Дверь толкали — ровно, без злости, как толкает ветер.

Шарк. Пауза. Удар плечом в доски. Шарк.

Потом с другой стороны, у бочки, — плеск. Кто-то задел бочку, и она глухо гукнула.

Двое.

Сел на мешках. Мешки хрустнули на весь сарай. Замер.

Цепочка. Видно, недалеко ушли. А я днём орал над фонарём.

Ставенка на окошке была приоткрыта, как я её оставил. Серый квадрат — снаружи было чуть светлее, чем внутри.

Квадрат закрылся.

В окошко просунулась рука. Медленно. Пальцы шевелились, щупали раму, воздух. Потом вторая. Потом между ними — голова, тёмная, и хрип. Близко. Метра два.

Изнутри окошко было высоко, над верстаком. Он лез. Плечи упёрлись в раму, сорок на сорок. Застрял.

Руки шарили по верстаку. Наткнулись на фонарь. Фонарь поехал и грохнулся на пол. Снаружи, у двери, второй ударил в доски сильнее.

Нашарил в углу грабли. Перехватил черенок обеими руками.

Бить нельзя. Удар — это звук, а у двери второй. А сколько их ещё в поле — неизвестно.

Ждать до утра с ним в окне тоже нельзя. Рама старая. Может не выдержать.

Ткнул граблями, как вилкой, зубьями в лицо. И надавил. Всем весом. Зубья вошли — в глаз, в щеку, не видел куда. Он дёрнулся, захрипел громче. Надавил ещё. Ещё.

Хрип оборвался.

Стоял с граблями, упёртыми в него, и не мог отпустить. Руки тряслись так, что зубья скребли внутри.

Потом упёрся сильнее и толкнул. Назад, наружу. Тело поехало рывками, плечи вышли из рамы, и он вывалился в траву под окошком. Глухо.

Зацепил ставенку зубьями граблей за край и подтянул. Она закрылась. Подпёр черенком.

У двери скреблись до рассвета. Толкали, отходили, возвращались. Сидел я в углу на мешках с черенком в руках и не шевелился. Бёдра свело через час. Через два перестал их чувствовать.

Двадцать три палочки на балке. Тот, кто их нацарапал, наверное, тоже так сидел.

Под утро шарканье ушло в сторону леса. Потом стало тихо.

Посмотрел на кружку в углу. Жёлуди в ней стояли целые, вода не расплескалась.

Закрыв глаза. На минуту.

Глава 4

Жёлуди за ночь стали мягче.

Сидел на мешках, держал кружку на коленях и выуживал ядра пальцами. Вода в кружке потемнела до цвета крепкого чая. Отодвинул черенок граблей, приоткрыл ставенку и слил её наружу, в сторону. Под окошко не смотрел. Куснул первое ядро.

Горько. Но уже терпимо. Как грейпфрут, если есть его без сахара и с похмелья.

— Спасибо, мистер Гловер, — сказал я. — Месяц в скаутах. Окупился.

Жевал медленно, по половинке ядра. Двадцать три ядра — это минут двадцать жевания. Торопиться было некуда. Солнце только поднималось, в окошко падал розоватый квадрат света, плясала пыль.

Мешки подо мной хрустнули, когда я поёрзал. От них поднялся запах — кислый, химический, с подкладкой чего-то травяного. Удобрение.

Принюхался.

Запах был знакомый. Очень знакомый. Откуда?

Задний двор. Грядки вдоль забора, четыре штуки, обложенные кирпичом. Мама в соломенной шляпе и садовых перчатках с цветочками. Пакет с удобрением на тачке, точно такой же — зелёный, с нарисованным помидором. Мне лет восемь. Помидоры у мамы выросли огромные, кривые, с трещинами, и она раздавала их соседям ведрами, а соседи кивали и потом выбрасывали, потому что у каждого были свои.

Ядро застыло у меня во рту.

Мама. Опять мама. Заснул вчера с мыслью о ней и проснулся с ней же — и вот теперь эти помидоры.

Сидел с недожёванным жёлудем и смотрел в стену сарая.

Боулинг-Грин, Олд-Ривер-роуд. Ездил к ней на Рождество и на День благодарения. Чаше звонил — раз в две недели, когда вспоминал.

Боулинг-Грин — это не округ Нокс.

Значит...

Значит, там может быть всё нормально. Может, там горит свет, работает телефон, по телевизору идёт футбол. А мама сидит на веранде со своим холодным чаем и ругает соседского кота, который опять разрыл ей грядку.

А может — нет.

Газета ведь без даты. Может, с тех пор, как её напечатали, карантин распространился на весь штат. На всю страну.

Сложил газету обратно. Руки дрожали.

Над правым ухом заныло — так же, как вчера у машины, когда я пытался пробиться сквозь туман той пятницы. Не стал пробиваться.

— Ладно, — сказал я. — Ладно. Не сейчас.

Доел жёлудь. Он был горький.

Термос я наполнил из бочки перед выходом, процедив через тряпку. Вылез из сарая — ногами вперёд, по уже знакомой схеме. Под окошком лежал ночной, лицом в траве. Перешагнул. Постоял, послушал. Тишина. Утренний туман над полем, мокрая трава, где-то тренькает птица.

До развилки, судя по карте, было меньше полумили на юг. Вдоль опушки, потом через поле к грунтовке.

Пошёл.

Опушку прошёл быстро, оглядываясь на лес. Через поле шёл короткими перебежками, если можно назвать перебежками моё шарканье: от куста к кусту, с остановками.

«Опять дёргаешься», — сказал Дон.

— Опять, — согласился я.

«А жёлуди свои помнишь? Ставлю пятёрку, что через час ты будешь сидеть в кустах со спущенными штанами».

— Заткнись, Дон.

«И я даже отвернусь».

Хмыкнул. Уже второй день он со мной, этот Дон в голове. И с ним идти было легче.

Где сейчас Дон?

Улыбка сползла.

Дон жил в Роузвуде. В квартире над прачечной, на Мейн-стрит, в самом центре. Там, где больше всего домов.

Больше не стал про это думать.

* * *

Развилку я нашёл к полудню.

Грунтовка уходила от шоссе направо, на запад, между двумя полями. На столбе у развилки висел указатель — деревянная стрелка, выцветшая, с облупившимися буквами: «ФЕРМЫ ДЭВИС — ТОРНТОН — БЕЙЛИ». Под ним кто-то прибил картонку и написал маркером: «СВЕЖИЕ ЯЙЦА. МЁД. 2\$». Рядом на гвозде висела банка из-под огурцов с прорезью в крышке и наклейкой «Честная касса». Внутри лежали три мятых доллара и горсть мелочи. Никто их не взял.

Свернул на грунтовку.

Первая ферма — Дэвисов, судя по почтовому ящику с полустёртой фамилией, — стояла на пригорке, в стороне от дороги.

Двухэтажный белый дом с облупившейся краской. Длинное крыльцо с перилами. Два сарая — большой и поменьше. Курятник. Ржавый трактор без колёс у забора. Вокруг двора — дощатый забор, низкий, по пояс.

Залёг за кустами шиповника на краю поля и смотрел.

Долго. Минут двадцать. Солнце ползло по небу, муравей залез мне на руку, я его стряхнул.

В доме кто-то ходил — я слышал, как скрипят половицы, когда ветер стихал. На крыльце, за перилами, стоял силуэт, неподвижный, покачивающийся. За курятником что-то брякало: равномерно, тупо, раз в несколько секунд. Как будто кто-то пинал ногой жестяное ведро.

— Раз, — шептал я, загибая пальцы. — Два — на крыльце. Три — за курятником. Может, ещё внутри кто. Четыре. Может, пять.

Можно пойти дальше.

— Дальше — Торнтоны, — сказал я себе. — Это ещё миля. Потом Бейли — ещё миля. Солнце уже за полдень. Если там то же самое, я останусь на ночь в поле.

«А тут их четверо», — сказал Дон.

— А тут их четверо, — согласился я. — Но тут есть забор.

Смотрел на этот забор. Низкий, дощатый, по пояс. Весь двор — как загон.

Забор — это хорошо. Через забор они падают. Мы это уже выяснили. Но забор — это и плохо. Если их окажется больше, чем четверо, а я буду стоять у забора...

Нужно место, куда можно отступить. Открытое за спиной. Чтобы видеть, если кто-то зайдёт сзади.

И оружие. Как вчерашний камень у сосны.

Пополз вдоль поля в обход фермы. Медленно, от куста к кусту.

С дальней стороны двора забор выходил прямо в поле. За ним — открытое пространство, ровное, просматривается метров на двести, до самой лесополосы. Сзади никто не подкрадётся.

А у старого сарая, того, что поменьше, лежала куча кирпичей. Развалины какой-то печи или коптильни — почерневшие, закопчённые, вперемешку с битой глиной.

Дополз до кучи. Взял кирпич. Тяжёлый — килограмма два с половиной. В одной руке удержать можно. Если двумя — можно и замахнуться.

Выбрал шесть кирпичей. Целых, без трещин. Перетаскал их к забору ползком, по одному-два за раз — сколько мог унести. Разложил в траве у забора, на расстоянии вытянутой руки. Рядом положил палку от швабры. И термос, чтобы не мешал.

«Ну ты и стратег», — сказал Дон. На этот раз без насмешки.

— Учусь, — сказал я.

Солнце висело низко над полем. Ещё час — и начнёт темнеть. Ждать дольше нельзя.

Встал за забором в полный рост. Оглянулся. Поле за спиной пустое. Посмотрел на кирпичи в траве.

Сердце стучало в горле.

— Не получится — я труп, — сказал я себе. — Уйду ночевать в поле — тоже, скорее всего, труп.

Набрал воздуха.

И заорал.

— Эй! Э-э-эй! Сюда! Сюда, мать вашу!

Голос сорвался на «мать вашу» в петушинный визг. Мне стало стыдно — даже сейчас, даже здесь.

Но они услышали.

Входная дверь распахнулась так, что ударилась о стену. На крыльцо вывалились двое. Тот, что стоял за перилами, развернулся. Из-за большого сарая вышел ещё один.

Медленные. Все медленные.

Женщина в домашнем халате — с бахромой на рукавах, в одной тапке. Старик в джинсовом комбинезоне на лямках, седой, тощий. Двое помоложе: парень в клетчатой рубашке и тётка в цветастом платье. Они ковыляли ко мне через двор, натываясь друг на друга, спотыкаясь о брошенный садовый шланг.

— Давайте, — шептал я. — Давайте, голубчики. По одному.

Поднял первый кирпич. Взвесил в руке.

Из-за угла курятника вылетел пятый.

Он бежал.

Мальчишка. Лет шестнадцати. Высокий, тощий, в бейсболке козырьком назад и в майке с каким-то рок-бэндом. Руки болтаются, голова завалена набок, рот открыт. И изо рта — визг. Высокий, захлёбывающийся, как у свиньи на бойне.

Кирпич выпал у меня из руки.

В голове — ничего. Пусто и звонко. Ни мыслей, ни расчётов. Даже Дон замолчал.

Бежать?

Куда? По полю? От него?

Двадцать метров. Десять.

Он врзался в забор на полном ходу, даже не сбавив скорости. Ноги зацепились за верхнюю доску, тело продолжило лететь.

И он перелетел через забор кувырком. Лицом в землю. Прямо мне под ноги.

И тут же начал вставать.

Быстро. Слишком быстро. Клетчатый в тюльпанах ворочался минуту. Этот уже упирался руками в землю, уже подтягивал колено...

Ноги подогнулись сами, и я рухнул на него. Всем весом, прямо на спину.

Он ткнулся лицом в землю. Захрипел подо мной. Задёргался.
Сидел на нём верхом. Он бился. Его руки скребли землю, ноги колотили. Он был сильный. Очень сильный. Сильнее меня, в десять раз. Но я был тяжелее.
Мама всю жизнь говорила: «Ты бы похудел».
— Ни за что, мам, — прохрипел я.
Кирпич. Где кирпич?
Нашарил рукой в траве — первый, тот, что выронил. Схватил. Двумя руками.
Поднял.
И ударил его по затылку. Бейсболка слетела.
Он дёрнулся сильнее. Чуть не сбросил меня.
Ударил ещё. Ещё. Ещё. Кирпич скользил в потных пальцах. Перехватывал его и бил снова.
На пятом ударе он затих.
Сидел на нём верхом и не мог отпустить кирпич. Пальцы свело. Смотрел на них. Они были белые и чужие.
А через забор уже тянула руки женщина в халате. Пальцы скребли по моей куртке.
— Пошла! — Я отшатнулся. Свалился с мальчишки на бок. — Пошла отсюда!
Она навалилась на забор животом. Перевесилась. Голова и руки по эту сторону, ноги — по ту.
Встал на колени. Поднял кирпич. Ударил.
Остальных я положил по одному.
Это было долго. Очень долго. Медленные доходили до забора, переваливались через него — и застревали, или падали, и пока они ворочались, я поднимал кирпич и бил. А потом садился отдыхать, потому что руки отказывали. А потом подходил следующий.
Старик в комбинезоне застрял на заборе лямкой. Висел и дёргался, как марионетка. С ним было проще всего.
Парень в клетчатой рубашке перевалился и упал на спину. Лицом вверх. Смотрел на меня, пока я поднимал кирпич. Глаза мутные, серые. Бил, закрыв свои.
Тётка в цветастом платье застряла в заборе ногой — между досками. Стояла и рвалась ко мне. Ударил её палкой от швабры в грудь, она завалилась на спину, а нога так и осталась в заборе.
После неё у меня кончились силы. Совсем.
Сел на землю. Потом — привалился к чему-то мягкому. Это был старик в комбинезоне. Сидел, привалившись к нему спиной, и дышал.
Пятеро за полчаса.
Два дня назад я стоял на коленях над Дуэйном и блевал пустым желудком. Вчера над женщиной с термосом меня трясло, но не вырвало.
Сегодня я сижу на трупе, как на диване.
— Ты привыкаешь, — сказал я вслух.
Ждал, что от этих слов станет страшно. Как вчера в лесу.
Страшно не стало. Стало как-то... пусто.
Солнце село. Небо над полем стало сиреневым.
А я сидел на мёртвом старике и вдруг почувствовал, как изнутри поднимается что-то тёплое. Горячее даже.
Я сделал это.
Составил план. Нашёл забор. Нашёл кирпичи. Разложил их. Выманил. И когда выскочил бегун — бегун! — я не убежал, не умер, не обделался. На него рухнул. И убил.
Я. Страховщик. Пивной живот. Который считал подъём на третий этаж кардионагрузкой.

Засмеялся. Тихо, сквозь зубы, счастливо. Хотелось встать и заорать что-нибудь в небо.
«Да! Да, суки!»

«Эй, — сказал Дон. — Тормози».

Замолчал.

«Знаешь, из-за чего чаще всего бьются? — продолжал Дон. — Переоценка своих сил. Мужик купил мотоцикл, прокатился разок, решил, что он байкер. И через неделю — в столб».

Это была моя фраза. Говорил её клиентам. Много раз.

— Знаю, — сказал я тихо. — Знаю. Мне повезло. Он упал. Если бы он... если бы забор был на десять сантиметров ниже...

Посмотрел на мальчишку в майке с рок-бэндом. Лежит лицом вниз, бейсболка в траве.

— Учусь, — сказал я снова. — Но не зазнаюсь. Договорились?

«Договорились», — сказал Дон.

Потом я их обыскивал. Уже в сумерках.

Это стало... привычным. Расстегнуть, вытащить, проверить карманы. Не смотреть в лица.

С тётки в цветастом платье — ничего. С женщины в халате — ничего. С парня в клетчатой рубашке — ремень. Кожаный, широкий, с латунной пряжкой. Мой ремень на рабочих штанах держался на честном слове и на дырке, проковырянной гвоздём. Этот был лучше.

Со старика — кожаный портфель на ремне через плечо. Странная вещь для фермера. Открыл: внутри книга в мягкой обложке, «Ремонт и обслуживание автомобилей», и пачка квитанций. Видимо, старик был не только фермером.

На мужике же — оранжевая строительная каска. Не заметил её, когда он шёл, — она съехала на затылок. Каска. Целая, с регулируемым ремешком. Сбоку наклейка, выцветшая на солнце: «Безопасность превыше всего!».

Надел её. Затянул ремешок.

На парне в клетчатой были ковбойские сапоги. Коричневые, со скошенным каблуком, с вышивкой по голенищу: подкова и надпись «Рождён скакать». Старые, разношенные.

Примерил подошву к своей кроссовке. Мой размер. Ровно мой.

Кроссовки жали второй день. Пальцы поджаты, на мизинцах мозоли.

А сапоги — мой размер.

Сел на нижнюю ступеньку крыльца, стянул кроссовки — ох, господи, какое облегчение — и натянул сапоги.

Встал.

Мягко. Свободно. Пальцы не упираются. Будто в тапочки влез.

— Да! — сказал я. — Вот это да!

Сделал шаг по дощатой дорожке у крыльца.

Бум.

Каблук ударил по доскам так, что звук разнёсся по всему двору. Замер.

Ещё шаг. Бум.

Сошёл с досок на землю. Тише. Но каблук проваливался в мягкую землю, и я качался, как на ходулях. Попробовал быстро пойти — нога поехала на мокрой траве, гладкая кожаная подошва скользила.

Стоял посреди двора в сапогах и думал.

Если придётся удирать, я в них навернусь на первом же шаге. А грохот от каблуков услышат на соседней ферме.

В кроссовках — тесно. Зато в них я хотя бы не падаю.

— Мозоли переживу, — сказал я вслух.

Снял сапоги. Поставил у крыльца, рядышком, носками вперёд, как ставят в прихожей. Натянул обратно кроссовки. Пальцы поджались.

— Всё, — сказал я. — Пошли уже в дом.

Подняться на крыльцо я не смог.

Встал перед первой ступенькой. Поднял ногу. Нога поднялась сантиметров на десять и опустилась обратно.

— Это ещё что?

Посмотрел на себя.

Каска. Футболка. Кожанка. Сверху — ватный жилет. Через плечо — портфель старика. На шее — термос, полный, полтора литра. На другом плече — наволочка с фонарём, верёвкой, ножницами, йодом, кружкой, кроссвордами. Палка от швабры в руке. Ремень новый, ремень старый.

И руки, которые полчаса поднимали кирпичи.

Просто не мог поднять ногу. Мышцы отказывались. После кирпичей, после бегуна, после всего этого дня.

— Вес, — сказал я. — Слишком уж много веса.

Сел на ступеньку. Сначала снял с шеи термос. Сразу стало легче дышать.

Ладно. Таблица. Ценность — вес.

— Термос, — сказал я, выкладывая на ступеньку. — Вода — жизнь. Оставляем. Каска — голова. Оставляем. Жилет — тепло. Оставляем. Портфель — тяжёлый, кожаный. Внутри книжка. Книжка про ремонт машин.

Подержал книжку. Ключ от машины без брелока лежал у меня в кармане с автошколы.

— Книжка — может быть. Портфель — нет.

Книжку сунул в наволочку. Квитанции выкинул. Портфель поставил рядом с сапогами.

— Старый ремень, — сказал я.

Расстегнул, вытащил, заменил на новый. Латунная пряжка щёлкнула. Ремень с дыркой от гвоздя положил к сапогам и портфелю.

Кому оставляю — не знаю. Просто бросить не получалось.

Без лишнего веса на крыльцо я всё-таки поднялся. Дом был пустой.

Внутри пахло затхлостью и чем-то кислым. В гостиной — продавленный диван, телевизор с рогатой антенной, на стене — свадебная фотография: молодой мужчина в смокинге и девушка в пышном платье. Мужчину я узнал — по форме носа, по ушам. Старик в комбинезоне. Девушка — женщина в халате.

Отвернулся от фотографии.

Кухня. Шкафы — пустые. Как везде. Банка из-под муки — пустая, только белая пыль на дне. Хлебница — пустая.

Открыл последний шкафчик, под раковиной. Моющее средство. Губки. Кастрюля с пригоревшим дном.

А за кастрюлей, в самом углу, — пачка.

Вытащил её.

Чипсы. Картофельные. Сметана с луком. Большая пачка, синяя, надутая, как подушка. Целая. Поперёк пачки, жёлтыми буквами с восклицательным знаком: «Одной не обойдёшься!»

Сел на пол кухни с этой пачкой в руках.

Губы задрожали. Глупо. Глупо, но задрожали.

Семьсот калорий. Посмотрел на этикетку — на сто граммов пятьсот сорок, в пачке сто пятьдесят. Восемьсот с лишним. Больше, чем я съел за последние три дня вместе.

Первым порывом было разорвать пачку зубами и высыпать всё в рот.

Положил пачку на колени и не стал.

На чёрный день.

Сам удивился, откуда это пришло. «На чёрный день». Мамина фраза.

У мамы в кладовке была полка. Отдельная, верхняя. Там стояли банки с тушёнкой, пакеты с рисом, консервированные персики, коробка спичек и две свечи. «На чёрный день». Она её никогда не трогала. Когда тушёнка подходила к сроку, мама готовила из неё ужин и ставила на полку новую банку. Отец смеялся над ней. Называл полку «бункером». Смеялся и я. Подростком я однажды стащил с этой полки банку персиков и съел их с Ронни Праттом за гаражами. Мама потом неделю со мной не разговаривала.

Обиделась она за полку.

— Ну вот, мам, — сказал я тихо. — Понял. Через двадцать пять лет, но понял.

И опять — где она?

Хватит. Мамина полка всегда была полной.

Убрал чипсы в наволочку. На самое дно, под тетрадь и газету.

В холодильнике лежал лосось. Кусок филе на тарелке, затянутый плёнкой, серый по краям. Снял плёнку, понюхал — и меня чуть не вывернуло.

— Нет, — сказал я и захлопнул дверцу. — Даже у меня есть границы.

Наверху, в ванной, в шкафчике за зеркалом, нашлась пластиковая баночка с таблетками кофеина. «Для бодрости и концентрации». Половина баночки. Сунул её в карман.

В спальне — кровать, комод, шкаф. В шкафу — пусто. А под кроватью — рюкзак.

Туристический, на железной раме, выцветший до цвета хаки. Одна лямка подшита ниткой. Внутри — пусто, только старая карта национального парка и обёртка от батончика.

Вытряхнул в него всё из наволочки. Чипсы — сверху, чтобы не раздавить.

Рюкзак сел на спину. Рама упёрлась в поясницу, лямки — в плечи. Вес распределился.

А наволочку я сложил вчетверо. Аккуратно, как в магазине. Белая, в мелкий голубой цветочек. Моя наволочка. С моей подушки. Из моего дома.

Сунул её в боковой карман рюкзака.

«Сентиментальный ты, страховщик», — сказал Дон.

— Отстань, — сказал я.

В спальне я задёрнул шторы. Дверь спальни закрывалась на щеколду. Проверил трижды. Входная дверь внизу висела на одной петле — её вынесли, когда хозяева выходили меня встречать.

Было около восьми — судя по темноте за окном. Часов у меня так и не было.

Сел на кровать.

Гудело всё: ноги, руки, плечи.

— Устал — сказал я вслух. — Медленный — значит мёртвый.

Посмотрел на свои руки. Тонкие. Дряблые.

Встал. Посреди спальни. На ковре.

Что я знаю про тренировки?

Ничего. Абонемент в спортзал, который я купил после развода — нет, после расставания с Карен, — и ходил два раза. Тренер там был с шеей шире головы. Он заставлял всех делать бёрпи. Падаешь на пол, отжимаешься, подтягиваешь колени, вскакиваешь, подпрыгиваешь с хлопком над головой. Сделал четыре и ушёл в раздевалку, держась за стенку. Больше не возвращался.

— Бёрпи, — сказал я с отвращением.

Опустился на ковёр — скорее рухнул, чем опустился. Отжался. Руки задрожали так, что локти ходили ходуном, но выжали. Подтянул колени. Встать рывком не получилось — пришлось через колено, держась за край кровати. Прыгать я пока не мог, поэтому только привстал на носки. Хлопнул над головой.

Каска звякнула о люстру.

— Твою мать!..

Люстра закачалась, стекляшки зазвенели. Схватился за неё обеими руками, остановил.

Прислушался. Тихо.

Снимать каску не стал. Пусть. Привыкать надо.

— Раз, — сказал я.

Второй начался так же. Ковёр, руки, отжаться... На середине локти просто сложились, и я лёг на ковёр лицом. Каска стукнула о пол.

Лежал и дышал. Минуту, может, две. Потом подтянул колени. Встал — через колено, через кровать. Хлопнул.

— Два.

На третьем я дошёл до пола, отжался — и понял, что встать уже не смогу. Совсем. Ноги отказали.

Так и остался стоять на четвереньках посреди чужой спальни, в каске, капая потом на ковёр.

— Два с половиной, — прохрипел я. — Половина считается.

Лежал на кровати в темноте. Каску наконец снял — положил на подушку рядом.

Потом сел и нащупал рюкзак. Открыл. Чипсы лежали сверху. Пачка зашуршала.

Долго держал её.

— Одну, — сказал я. — Одну можно.

Надорвал уголок. Осторожно, чтобы потом закрыть. Запахло луком и сметаной — так сильно, так знакомо, что защипало глаза.

Вытащил одну чипсину.

Положил на язык.

Солёная. Хрустящая. Жирная. Лук. Сметана. Пятница. Диван. Футбол. Пиво. Дон на соседнем кресле с банкой «Будвайзера».

Держал я её во рту, не жуя, пока она не размокла.

Потом проглотил.

Загнул уголок пачки и прижал скрепкой — прямо поверх «Одной не обойдёшься!». Убрал обратно.

— Спасибо, — сказал я в темноту. Кому — не знаю. Может, хозяйке, которая спрятала эти чипсы за кастрюлю. Может, маме с её полкой.

Лёг.

За окном — ничего. Где-то через поле ухнула сова.

Боулинг-Грин. Олд-Ривер-роуд.

Два часа на машине. Сколько это пешком и есть ли туда дорога — не знал.

Глава 5

Утро началось с того, что я попытался сесть.

Попытался — громко сказано. Подумал о том, чтобы сесть, и всё тело ответило одним коротким, ясным сигналом: даже не думай.

Болело всё. Грудь — от отжиманий. Бёдра — от приседаний. Плечи — от кирпичей. Пресс, о существовании которого я узнал только вчера вечером, горел так, будто ночью по мне проехал трактор.

Лежал на спине и смотрел в потолок чужой спальни. Потолок был ровный, белый, без единой протечки. Хоть в чём-то Дэвисы меня обошли.

— Два с половиной бёрпи, — прохрипел я. — Два с половиной. А болит так, будто я пробежал марафон.

Перекатился на бок. Медленно, как переворачивают черепаху. Спустил ноги с кровати. Сел, держась за спинку, и замер, пережидая.

Кран на кухне чихнул воздухом, плюнул ржавой каплей и затих.

Стоял над раковиной и смотрел на этот кран. Пить хотелось. В термосе оставалось на доньшке — вчера я выпил больше, чем рассчитывал.

Ферма. Это ферма.

На фермах нет городского водопровода. Трубы сюда никто не тянул бы — слишком далеко. Значит, колодец. А в колодце — насос. Насос качает воду не прямо в кран, а в бак. Гидробак. Металлическая бочка с мембраной внутри, которая держит давление, чтобы насос не включался каждый раз, когда кто-то моет руки.

Откуда я это знаю?

Из страховой, откуда же ещё. Лет пять назад у какого-то фермера под Луисвиллем зимой лопнул гидробак. Он не слил его перед морозами. Вода замёрзла, бак разорвало, подвал залило по колено. Иск на четыре тысячи двести долларов. Тогда полдня читал техническую документацию, чтобы подвести это под пункт «ненадлежащее обслуживание». Подвёл. Фермер не получил ни цента.

Мне тогда было его совсем не жалко. Сейчас — немного жалко.

— Прости, мужик, — сказал я в пространство. — Но твой бак меня сейчас напоит.

Если в баке что-то осталось.

Подсобка нашлась за кухней — узкая комната с бойлером, стиральной машиной и железными полками. В углу стоял он. Синий бак, высотой мне по пояс, с манометром наверху. Стрелка манометра лежала почти на нуле, но не на самом нуле — чуть выше.

— Давление есть, — прошептал я. — Немного, но есть.

Внизу у бака торчал сливной кран с пластиковым барашком. Опустился на колени — колени взвыли — и подставил термос.

Повернул барашек.

Вода пошла. Тонкой струйкой, холодная, прозрачная. Чистая — без ржавчины, без листьев, бездохлых жуков.

Держал термос и смотрел, как он наполняется, и чувствовал себя так, будто нашёл клад.

Термос наполнился. Потом кружка. Потом я пил прямо из-под крана, подставив рот, как в детстве из садового шланга. Вода текла по подбородку, за шиворот, на розовую футболку, — а я пил и пил.

Литров двадцать там было, не меньше. Напился, наполнил всё, что было, и закрыл кран. Остальное пусть будет. Вдруг вернусь.

На крыльце я поел. Горсть вчерашних желудей, вымоченных ещё в сарае, — я пересыпал остатки в карман и жевал их, сидя на ступеньке. Плюс одна таблетка кофеина из баночки,

найденной вчера в ванной. На этикетке был нарисован бодрый мужчина в галстук, бегущий вверх по лестнице. «Ясность ума весь день!»

Через десять минут ум стал ясным. Сердце застучало чаще, руки слегка задрожали. И мышцы, кажется, стали слушаться лучше.

Сидел на крыльце и смотрел на двор. Пятеро лежали там, где я их положил. За ночь ничего не изменилось. Только над ними уже кружили мухи.

Жевал чипсы и думал о том, что надо бы поменять носки.

Встал, закинул рюкзак на плечи — рама впиалась в поясницу, мышцы спины завопили — и пошёл к грунтовке.

Зайца я увидел на краю поля, метрах в двадцати.

Крупный, серо-бурый, с длинными ушами. Сидел столбиком и смотрел на меня.

Замер.

Мясо. Это мясо. Килограмма два. Жареная зайчатина. Мама готовила зайца однажды, когда отец принёс с охоты, — с черносливом, в горшочке...

Заяц смотрел на меня.

Сделал шаг. Медленно, очень медленно.

Заяц смотрел.

Ещё шаг.

Заяц подумал, опустился на все четыре лапы и неторопливо, вразвалочку, пошёл прочь. Через пару метров остановился, оглянулся на меня через плечо — и пошёл дальше.

— Он даже не побежал, — сказал я. — Дон, ты видел? Он от меня даже не побежал.

«Видел, — сказал Дон. — Он на тебя посмотрел и понял, что ты для него не опаснее пенька».

Заяц скрылся в кустах на краю поля. Постоял я ещё немного и пошёл дальше. Есть хотелось ещё сильнее.

Кремень я заметил случайно. Посреди распаханной полосы, в бороздах, на солнце блестел серый камень с острым гладким краем — как кусок битого стекла, только тусклее.

Наклонился, поднял.

Кремень. Самый настоящий.

Мистер Гловер. Скаутский лагерь у реки, третий день. Он сидел на бревне и стучал одним камнем о другой, и от удара отлетали искры. «Огниво, ребята. Так добывали огонь тысячи лет». А потом он взял тот же камень и ударил им о край другого, и от него откололась тонкая острая пластинка. «А это — нож. Первый нож человечества».

Из ножей у меня были только погнутые ножницы. Мясо, верёвку, бинт ими теперь можно было разве что мять.

Сел на край борозды. Нашёл камень побольше — круглый, тяжёлый, обкатанный. Положил кремень на колено, на сложенную вчетверо полу куртки.

— Ну, мистер Гловер, — сказал я. — Покажи, чему ты меня учил.

Ударил.

Камень соскользнул по кремню и врезался мне в палец.

— А-а-а, твою...

Затряс рукой. Сунул палец в рот. Посидел.

Ударил снова. Осторожнее. Мимо.

Ещё. Камень отскочил, ничего не отбив.

Ещё. Откололся кусочек — тупой, бесформенный, как крошка от печенья.

Ещё несколько ударов — без толку.

Пальцы покраснели. На двух выступила кровь. Колено под курткой ныло от ударов. А кремень всё никак не хотел колоться правильно.

«Брось ты это», — сказал Дон.

— Двенадцатая попытка, — сказал я. — Ещё одна.

Перевернул камень. Посмотрел на него внимательнее. Край в одном месте был тоньше — как козырёк. Мистер Гловер, кажется, бил именно по краю. Под углом. Сверху вниз.

Поставил камень ребром. Прицелился. Ударил — коротко, резко, под углом.

Щёлк.

От камня отлетела пластинка. Длинная, с ладонь, тонкая. С одного края — острая, как бритва. Провёл по ней пальцем — и на подушечке сразу выступила тонкая красная полоска.

— Ох ты...

Держал эту пластинку на ладони и смотрел на неё.

Нож. Первый нож человечества. Мой первый нож.

— Мистер Гловер, — сказал я хрипло. — Спасибо.

Пластинку я обернул обрезком простыни, чтобы не порезаться, и положил в нагрудный карман куртки. Основной камень сунул в рюкзак — вдруг понадобятся искры.

* * *

Дом стоял у оврага, в полумиле от Дэвисов.

Одноэтажный, длинный, с серой обшивкой и зелёной крышей. У стены — поленница, под навесом — газовый гриль, накрытый брезентом. Сбоку — сарай поменьше. Задний двор уходил к оврагу, заросшему ивняком.

Лежал в траве и смотрел на дом минут пятнадцать.

Тихо. Ни шарканья, ни стука. Окна целые, шторы задернуты. Машины у дома нет.

Обошёл его кругом — медленно, пригибаясь, насколько позволяла спина. Заглянул в каждое окно, где шторы были хоть чуть-чуть разведены. Кухня. Гостиная. Спальня. Пусто.

Входная дверь была заперта. На двери, на уровне глаз, был приколот листок бумаги. Тетрадный, в клетку, приколот кнопкой. Синей ручкой, крупными буквами:

«УШЛИ К ТОРНТОНАМ. ТАМ ПОЛИЦИЯ. ДЖО И ДЕТИ»

И ниже, мельче, другим почерком, детским, неровным:

«Пёс Барни тоже с нами»

Стоял я перед этой запиской и перечитывал её.

Торнтоны. Вторая ферма по указателю. «Фермы Дэвис — Торнтон — Бейли».

Там полиция.

Полиция. Живые люди. Люди с оружием, с рациями, с порядком. Которые знают, что происходит. Которые могут позвонить маме.

Сердце застучало так, что я прислонился к двери.

«Эй, — сказал Дон. — Тихо. Не беги впереди паровоза».

— Там полиция, Дон.

«Записке сколько дней? Неделя? Две? Ты не знаешь».

Посмотрел на листок. Бумага слегка волнистая — от сырости. Чернила не расплылись.

— Не знаю, — согласился я.

«Вот и не беги. Ты сначала, этот дом посмотри. Ты же жрать хочешь».

Он был прав.

Дверь была заперта. Окна тоже. Чтобы войти, нужно было разбить стекло.

Стекло — это звон. Звон — это звук. Звук — это они.

Звон далеко летит. Но я пятнадцать минут смотрел — вокруг пусто. Если кто и услышит, то издали, и пока дойдёт...

Значит, надо сделать звон потише.

Выбрал окно на заднем фасаде — маленькое, в ванную, выходящее к оврагу. Подальше от дороги. Снял куртку. Обмотал ею кирпич, найденный у поленницы. Прижал свёрток к стеклу в нижнем углу.

И надавил. Потом ударил — коротко, всем весом.

Хрусть.

Стекло треснуло и вывалилось внутрь, на кафель. Звон вышел глухой, будто разбили тарелку в соседней квартире.

Замер, прижавшись к стене.

Окно было маленькое. Ванная — тоже. Протиснулся по пояс, застрял, повертелся, выдохнул весь воздух — и рухнул внутрь, на кафельный пол, прямо в осколки.

— С-с-сука...

Порезал ладонь. Неглубоко. Встал, держась за раковину, и посмотрел на себя в зеркало над ней.

Небритый мужик в розовой футболке и кожаной куртке, с осколками в волосах. За четыре дня я похудел ещё сильнее — щёки ввалились, глаза запали. Только живот, как всегда, держался молодцом.

— Красавец, — сказал я отражению. — Прямо на обложку журнала «Выживальщик месяца».

Дом был вычищен. Как все.

Кухонные шкафы — пустые. Холодильник — пустой, только засохшая лужа на дне. Кладовка — пустая. Полки в гостиной — пустые, только пыль и светлые прямоугольники там, где стояли фотографии.

Фотографии забрали с собой.

Вспомнил свою гостиную. Свои полки. Там тоже стояли фотографии — мама с отцом на рыбалке, я на выпускном в колледже, мы с Доном на озере, оба красные, как варёные раки.

Были ли они там, когда я проснулся?

Не помнил, смотрел ли я на них. Тогда был занят памперсом и капельницей.

В детской на стене висел плакат с динозавром. Под ним — двухъярусная кровать, голая, без матрасов. Матрасы тоже забрали. Наверное, в машину, на крышу.

На полу у кровати лежал одинокий носок. Детский, жёлтый, с рисунком — улыбающийся банан.

Поднял его. Подержал. Положил на кровать.

Дверь в подвал была на кухне — узкая, рядом с кладовкой.

Открыл её. Вниз уходила деревянная лестница. Ступеней десять. Дальше — темнота.

Черно. Совсем. Как в погребке у бабушки, когда закрыли крышку.

Постоял на пороге. Оттуда тянуло холодом, сыростью и чем-то ещё — квашеной капустой, кажется.

— Фонарь, — пробормотал я. — Фонарь-то без батареек.

Он лежал в рюкзаке с позавчера. Таскал я его как талисман.

Зажигалка.

Достал её из кармана. Чиркнул. Огонёк — маленький, жёлтый, дрожащий. Он освещал ровно мою руку и полметра вокруг.

— Ну, — сказал я. — С богом.

Ступенька. Ещё одна. Перила под рукой — шершавые, влажные.

На пятой ступеньке огонёк качнулся от сквозняка, и тени на стенах метнулись. Замер. Сердце застучало в ушах.

Тишина. Только где-то капает.

Шестая ступенька. Седьмая.

Зажигалка обожгла палец.

— Ай...

Стоял в темноте на седьмой ступеньке, дул на палец.

Чиркнул снова.

Восьмая. Девятая. Десятая. Пол — бетонный.

Поднял зажигалку.

Полки.

Деревянные стеллажи вдоль стен, от пола до потолка. А на них...

Банки.

Стеклянные банки. Десятки банок. С огурцами, с помидорами, с какими-то бурыми соленьями, с вареньем — тёмным, вишнёвым, с жёлтым, абрикосовым. Каждая подписана от руки на белой полоске пластыря: «Огурцы, 92». «Пикули, 92». «Персики, 93».

Нетронутые.

Зажигалка снова обожгла пальцы. Выронил её, и она звякнула о бетон. Темнота.

Стоял в этой темноте и смеялся. Тихо, беззвучно, трясаясь всем телом.

Сюда никто не спускался.

Весь дом вычищен до пыли, до носков, до матрасов. А подвал — нет. Потому что в подвале темно. Потому что спускаться в темноту, в подвал, где может кто-то быть, — страшно. Мародёры брали то, что на виду. В темноту они не лезли.

— Подвалы, — прошептал я. — Дон. Подвалы.

«Слышу, — сказал Дон. — Зажигалку подними, гений».

Нашарил её на полу. Чиркнул. Стал считать банки.

На полках стояли сорок две банки. Пересчитал дважды. Огурцы, помидоры, пикули, капуста, свёкла, персики, вишня, абрикосы. И четыре большие банки с чем-то тёмным, мясным — тушёнка? Пластырь на них: «Оленина, 92».

Взял банку персиков. Подержал её в руке. Тяжёлая, холодная, стеклянная.

— Ты бы оценила, мам, — сказал я тихо. — Это не полка. Это целый бункер.

Унести все сорок две я не мог. Даже десяток не мог — каждая весила под килограмм. Рюкзак и так тянул плечи.

— Оленина — белок, — бормотал я, перебирая. — Тяжёлая, но сытная. Две. Персики — сахар, калории. Одна. Огурцы — соль. Одна. Четыре банки. Почти четыре килограмма.

Рюкзак станет неподъёмным.

На нижней полке, в углу, за банками со свёклой, стояла жестяная банка из-под печенья. Большая, круглая, с выцветшей картинкой — рождественская деревня под снегом, санки, ёлка. «Лучшее датское печенье».

Потряс её. Внутри что-то глухо стукнуло — тяжёлое.

Открыл крышку.

Внутри, завернутый в промасленную тряпку, лежал револьвер.

Смотрел на него при свете зажигалки, пока она снова не обожгла пальцы.

Темнота. Стоял в темноте над открытой банкой из-под печенья с револьвером внутри.

Чиркнул снова.

Развернул тряпку.

Револьвер был небольшой, чёрный, матовый, с деревянной рукояткой. Короткий ствол — сантиметров пять. На стволе — гравировка, которую я разобрал не сразу: «.38 SPL». Рядом, в той же банке, лежала картонная коробка. На коробке — нарисованный стрелок в ковбойской шляпе и надпись: «Патроны .38 Special. Для спортивной стрельбы и самообороны». И ниже, мелко: «50 шт.»

Поднял коробку. Тяжёлая. Открыл, посмотрел: многоб штук сорок.

Пистолет. То есть револьвер. Оружие.

Настоящее оружие.

Никогда в жизни не держал оружия в руках. Даже в тире на ярмарке — там были пневматические винтовки, и я ни разу не попал в утку.

Взял револьвер в руку.

Тяжёлый. Холодный. Рукоятка легла в ладонь странно удобно — будто её делали под мою руку.

И мне стало страшно.

По-настоящему страшно. Страшнее, чем у окна, когда я увидел почтальона. Страшнее, чем у забора, когда на меня нёсся бегун.

Потому что тогда я боялся их. А сейчас я боялся этой штуки у себя в руке.

Поднялся наверх. Сел на кухне за стол, у окна, где было светло. Положил револьвер на стол перед собой. На тряпку.

Смотрел на него.

Что я знаю про оружие?

Из кино — всё. Из жизни — почти ничего.

Хотя кое-что знаю.

Три года назад. Иск от мужика из Франкфорта. Он чистил пистолет на кухонном столе. Пистолет был заряжен. Он об этом забыл. Пуля прошла через ногу, пол, подвал и застряла в банке с огурцами. Он требовал выплату по страховке от несчастного случая. Отказал я: сам виноват, нечего чистить заряженный. Он подал апелляцию и проиграл.

Его жена потом звонила мне и плакала в трубку. Положил трубку.

Смотрел на револьвер.

— Первое правило, — сказал я вслух. — Всегда считай, что он заряжен.

Протянул руку и взял его. Осторожно. Направив ствол в стену, в сторону от себя.

Как открывается барабан? В кино его откидывали вбок одним движением кисти. Нашёл на боку рамки маленькую защёлку. Нажал. Ничего. Потянул назад. Ничего. Сдвинул вперёд.

Барабан выпал вбок, в ладонь.

Пять гнезд. В трёх — патроны. Медные донца, блестящие. В двух — пусто.

Заряжен.

Он был заряжен. Всё это время. В банке из-под печенья, в подвале.

Сидел и смотрел на эти три медных донца.

Если бы я, как в кино, повертел его в руках... Нажал на курок, чтобы проверить...

Вытряхнул патроны на стол. Один, второй, третий. Они покатались по столешнице. Поймал их, выстроил в ряд.

Что дальше?

Зарядить его. Или нет.

Если заряджу — он опасен. Мне. Если не заряджу — он бесполезен. Кирпич.

«Заряди, — сказал Дон. — Но под курок — пустое гнездо. Мой дядя так делал. Чтобы если уронишь — не выстрелил».

Не знал, правда ли это.

Зарядил четыре гнезда. Пятое, то, что окажется напротив ствола, оставил пустым. Закрыв барабан. Он щёлкнул и встал на место.

Положил револьвер на стол. Посмотрел на него.

— Стрелять я не буду, — сказал я. — Ни за что. Пока не будет выхода.

Выстрел — это звук. Громкий звук. Громче звона стекла, громче крика, громче сигнализации. Они идут на звук. Одним выстрелом я соберу сюда всех из окрестностей.

И я не умею стрелять. Из пятидесяти патронов я сорок промажу. А остальные десять, скорее всего, попадут в меня самого.

Значит, револьвер — на крайний случай. Когда всё остальное кончилось. Когда хуже уже быть не может.

Завернул его обратно в промасленную тряпку. Положил во внутренний карман куртки. Коробку с патронами — в рюкзак, на дно.

«Знаешь, — сказал Дон, — ты первый человек, который нашёл пистолет и расстроился». — Я не расстроился, — сказал я. — Я испугался.

«А есть разница?»

На кухне, на подоконнике, стояло радио. Маленькое, серебристое, с ручкой и выдвижной антенной. На боку наклейка: «Всегда на связи! Радиоприёмник „Вояджер-3“».

Покрутил ручку. Ничего — даже шипения. Батарейки сели, или их нет.

Перевернул радио. Открыл крышку отсека.

Батарейки были. Две штуки, толстые, круглые. Размер D.

Замер.

Фонарь. Мой жёлтый фонарь из сарая. Тот самый, который я таскаю.

Достал его из рюкзака. Открутил крышку отсека. Две ячейки. Размер D.

— Да ладно, — прошептал я. — Да ладно...

Вынул батарейки из радио. Вставил в фонарь. Закрутил крышку.

Щёлкнул выключателем.

Свет.

Жёлтый, неровный, слабый — батарейки явно подсели. Но свет. Луч упёрся в стену кухни, в шкафчик, в календарь с видами Аляски.

Водил лучом по кухне — по потолку, по полу, по своей руке — и улыбался как идиот.

Радио я оставил на подоконнике. Без батареек оно было бесполезно. А ловить станции я всё равно не смог бы — у этого «Вояджера» не было аварийного диапазона, я проверил по шкале. Только АМ и FM. Если кто-то где-то ещё вещает — то по специальным частотам, а сюда они не пролезут.

С фонарём я спустился в подвал ещё раз.

Тёмные углы, которые зажигалка не доставала, оказались обычными тёмными углами. Даже немного обиделся на них — пять минут назад я в эти углы смотрел, как в пасть. Ящик с инструментами — красный, железный, с наклейкой на крышке, выведенной маркером: «Инструменты Джо. Нашёл — верни». В ящике — молоток, отвёртки, плоскогубцы, моток проволоки, изолента. Взял плоскогубцы и отвёртку. Молоток подержал — тяжёлый, хороший, с деревянной ручкой. Оружие лучше палки от швабры. Рюкзак и так трещал. Подумал. Сунул молоток за ремень.

В дальнем углу стоял морозильный ларь. Большой, белый, на полстены.

Поднял крышку.

Внутри было прохладно, сыро, пахло талым льдом и кровью. На дне в розовой лужице лежали пакеты. Пакеты с мясом. Поднял один, посветил фонарём. Наклейка: «Стейк, 2 шт.». Мясо было мягкое, оттаявшее, но красное, плотное. Без запаха. Ну, почти без запаха.

Понюхал другие пакеты. Фарш — пах уже кисло. Куриные ножки — тоже. Рыба — не открывал даже, по запаху сквозь пакет было ясно.

А стейки держались. Большие куски, плотные — они, видимо, оттаяли последними.

— Два стейка, — сказал я. — Два настоящих стейка.

Газовый гриль стоял под навесом во дворе, накрытый брезентом. Стащил брезент. Обычный гриль на колёсиках, с крышкой и двумя конфорками. На крышке — магнит, явно подарок ко Дню отца: кривое сердце, нарисованное фломастером, и надпись детскими буквами «ЛУЧШИЙ ПАПА».

Заглянул вниз. Под грилем — баллон. Белый, пузатый, с вентилем.

Пустой или нет?

Присел. Покачал баллон. Приподнял за ручку — тяжёлый. Пустой весил бы килограммов восемь. Этот — явно больше.

— Ага, газ есть, — сказал я.

Открыл вентиль. Зашипело. Запахло газом — тухлыми яйцами, как положено. Повернул ручку конфорки. Чиркнул зажигалкой.

Пых.

Стоял над этим синим пламенем и думал, что за эти дни мои понятия о роскоши изменились навсегда.

Стейк я жарил медленно. На слабом огне, переворачивая плоскогубцами — щипцов не было. Жир капал на решётку и шипел. Запах поднимался такой, что у меня кружилась голова.

Жарил, пока середина не стала серой. Потом ещё немного. Мистер Маккензи наорал бы на меня за пережаренный стейк. Хотя мистер Маккензи сейчас, наверное, шаркал по своему дому, натыкаясь на стены.

Отогнал эту мысль.

Отрезал первый кусок кремнёвой пластинкой. Она резала мясо легко, будто горячим ножом масло.

Положил в рот.

Сочный. Солёный — нет, несолёный, но мне показалось, что солёный. Горячий. Жирный. Мясной.

Закрыл глаза.

Жевал медленно. Очень медленно. Каждый кусок. В голове стало пусто и тепло: мама, Дон, кома, револьвер за пазухой — всё отошло куда-то за край. Только мясо. Только вкус. Только тепло, которое растекалось от желудка по всему телу.

Первый стейк я съел целиком. Второй завернул в кусок полиэтилена из ларя и положил в рюкзак, к банкам.

— Пятница, — сказал я. — Сегодня пятница. Я так решил.

В ванной, той самой, куда я ввалился через окно, в шкафчике за зеркалом, нашлась пачка таблеток. Обезболивающее. «Быстро и надолго!» — было написано на упаковке, а рядом нарисована женщина, которая держалась за голову.

Выпил две. Запил водой из термоса.

Через полчаса мышцы, которые с утра выли, поутихли. Смог поднять руки выше плеч. Смог наклониться. Пачку убрал в карман. Восемь таблеток. На чёрный день.

* * *

Вечер я встретил на крыльце.

Сидел на ступеньке, спиной к двери, с каской на коленях. Солнце садилось за оврагом. Небо над полем было оранжевое, потом розовое, потом сиреневое. Тихо, тепло. Где-то в ивняке пела птица.

Разложил вокруг себя всё, что у меня было, и пересчитал вслух. Вода — полный термос, из чистого бака. Еда — стейк, две банки оленины, банка персиков, банка огурцов. Нож — кремнёвый. Молоток — один. Оружие — револьвер, четыре патрона в барабане, сорок в коробке.

— Сорок, — повторил я. — Я не умею стрелять. Но у меня сорок патронов.

«Это как иметь машину и не иметь прав», — сказал Дон.

— Права можно получить, — сказал я. — Вон, у Гэри. С первого раза или следующий урок бесплатно.

Посмотрел на записку на двери. Она так и висела на кнопке. «УШЛИ К ТОРНТОНАМ. ТАМ ПОЛИЦИЯ».

Торнтонь. Полмили на запад, по грунтовке.

Люди.

— Завтра, — сказал я. — Завтра схожу. Осторожно. Посмотрю издалека...

И тут с запада ударил выстрел.

Громкий, сухой, короткий. Как будто кто-то хлопнул доской по доске. Эхо прокатилось по полю, отразилось от оврага.

Я замер.

Второй. Третий.

Потом — частые, один за другим, много. Пять, шесть, семь... Сбился со счёта. Где-то там, за полем, за полосой деревьев — там, где по карте была вторая ферма, — стреляли.

Каска выпала у меня с колен и покатилась по ступенькам.

Стрельба шла минуту. Может, полторы. Потом одиночные выстрелы. Потом...

Тишина.

Сидел на ступеньке и не дышал.

Живые.

Там живые. Там кто-то стреляет. Значит, у кого-то есть оружие, патроны и причина стрелять.

Полиция? Или по ним?

Смотрел на запад, на сиреневое небо над полосой деревьев. Ничего не было видно. Ни дыма, ни огня. Только небо темнело.

Нашарил каску на нижней ступеньке. Поднял. Надел. Затянул ремешок.

Рука сама потянулась к куртке, к тому месту, где у рёбер лежал револьвер. Доставать не стал, положил ладонь сверху. Почувствовал сквозь кожу куртки его тяжесть.

«Ну что, страховщик, — сказал Дон тихо. — Как оцениваешь?»

Долго молчал.

— Там люди, — сказал я. — Это точно. Хорошие или нет — не знаю. А если плохие...

Не договорил.

— Завтра, — сказал я. — Завтра схожу и посмотрю.

Пауза.

— Издалека, — добавил я. — Очень уж издалека.

Ночью я спал в детской, на голой нижней койке, под плакатом с динозавром. Дверь подпёр стулом. Фонарь рядом. Револьвер — под подушкой, в тряпке.

Хотя я и не спал толком. Лежал и слушал.

С запада больше не стреляли.

Глава 6

— Издалека, — сказал я. — Только посмотреть.

«Ты это уже говорил», — сказал Дон.

— И скажу ещё раз. Издалека.

Выпил полкружки воды из термоса, съел половину вчерашнего стейка — холодного, жёсткого, всё равно божественного — и проглотил таблетку обезболивающего. Мышцы после бёрпи ещё ныли.

И пошёл на запад.

До Торнтонов было полмили по грунтовке. Шёл не по ней — вдоль, полем, у кромки кустов, с привалом через каждые восемьдесят шагов.

Полиция. Люди с жетонами. Люди, которые знают, что делать. У них есть рации. У них есть приказы. У них, может быть, есть даже списки — кто эвакуирован, кто где.

Может, в этих списках есть я.

«Ты как ребёнок перед Рождеством», — сказал Дон.

— А ты как налоговая, — огрызнулся я.

Ферма Торнтонов показалась из-за полосы деревьев внезапно. Большая — больше, чем у Дэвисов. Красный амбар с белыми углами, как на открытке. Двухэтажный дом с верандой. Силосная башня. Загоны. И забор — новый, крепкий, из сетки-рабицы на столбах, выше человеческого роста.

Лёг в траву на опушке, метрах в двухстах.

И увидел машины.

Две. Бело-зелёные, с мигалками на крыше. На дверцах — звезда и надпись: «Шериф округа Нокс». Одна стояла во дворе, другая — у ворот, поперёк въезда.

Полиция.

Лежал в мокрой траве и чувствовал, как внутри поднимается что-то тёплое и щекотное. Как в детстве, когда на школьном празднике объявляли, что сейчас будет фокусник.

Во дворе ходили люди. Посчитал: четверо. В форме — коричневые рубашки, тёмные брюки, широкие ремни. У двоих ружья, у остальных пистолеты в кобурах. Один стоял у ворот, прислонившись к машине. Двое — у амбара.

А четвёртый стоял над человеком на коленях.

Человек на коленях был в клетчатой рубашке, руки за головой. Четвёртый — здоровый, широкий, с усами — что-то ему говорил. Громко. Слов я не разбирал, только интонацию. Так разговаривают с собакой, которая нагадила на ковёр.

Потом усатый нагнулся и обшарил у человека карманы. Вытащил что-то — бумажник? — и сунул себе в нагрудный карман.

У меня внутри что-то царапнуло.

Это обыск, сказал я себе. Обычный обыск. Процедура.

У амбара, на цепи, лежала собака. Рыжая, лохматая, с белым пятном на морде. Лежала, положив голову на лапы, и смотрела на человека на коленях.

Прищурился.

На ошейнике у собаки болталась бирка. Металлическая, круглая. Буквы я разобрал не сразу. Потом разобрал.

«БАРНИ».

Лежал и смотрел на эту бирку.

Пёс Барни тоже с нами.

Солнце поднялось выше. Человека в клетчатой рубашке подняли с колен и увели в дом. Усатый пошёл следом. Двое у амбара курили. Барни лежал.

— Ну, — сказал я шёпотом. — Ну и что делаем?

«Уходим», — сказал Дон.

— Это полиция.

«Это четыре мужика с ружьями. Значки — это просто железки».

— Это полиция, Дон, — повторил я. — Помощники шерифа. Округ Нокс. У них присяга. Протокол. Устав.

«Ты видел, что усатый сунул в карман?»

— Бумажник. Изъял при обыске. Опишут, оформят.

«Ага».

Лежал и думал.

Восемь лет я работал внутри системы. Договоры, пункты, протоколы, апелляции. Верил в бумагу. В то, что если всё сделать по правилам, правила тебя защитят. Когда меня обманывал Келлер, я молчал — но я знал, что есть начальство, есть отдел кадров, есть процедура. Ею ни разу не воспользовался. Но я знал, что она есть.

Если и им нельзя верить — тогда кому?

— Они полиция, — бормотал я. — Они собрали людей. Джо с детьми пошёл к ним — значит, верил. А если они не такие...

«То тебе конец».

— То мне конец, — согласился я. — Но если я сейчас уйду — я один. Опять. Без информации. Без людей. Сколько я протяну один, Дон? Неделю? Месяц? Зиму?

Дон молчал.

Снял каску. Положил на траву. Подумал — надел обратно.

— Руки вверх, — сказал я. — Иду открыто. С поднятыми руками. Как положено.

И встал.

Шёл к воротам через поле, подняв руки над головой. Рюкзак тянул плечи. Ноги дрожали. Двести метров — вечность.

Меня заметили на полпути.

— Стоять!

Тот, что у ворот, отлепился от машины и вскинул ружьё. Двое от амбара тоже повернулись. Один положил руку на кобуру.

Замер.

— Не стреляйте! — крикнул я. Голос сорвался, вышло тонко. — Я живой! Я не... я свой! Гражданский!

— Стой, где стоишь! Руки!

— Они подняты!

— Выше!

Из дома вышел усатый. Посмотрел на меня из-под руки, как смотрят на погоду. Что-то сказал тому, что у ворот. Тот махнул ружьём:

— Подходи! Медленно!

Подошёл. На воротах висела деревянная вывеска, выкрашенная белой краской: улыбающаяся курица в фартуке и надпись «Ферма Торнтонов. Свежие яйца каждый день! Добро пожаловать!». Ниже, на верёвочке, болтался колокольчик для посетителей. Ворота открыли на ширину человека — колокольчик весело звякнул, — и я протиснулся внутрь, под дулом ружья.

Усатый стоял посреди двора, расставив ноги. Вблизи он оказался ещё больше — шея толще моей головы, живот над ремнём, как у меня, только плотный, твёрдый. Усы рыжие, с проседью. Глаза светлые, водянистые, без выражения. Рубашка мятая, будто в ней спали, а жетон на груди начищен до блеска. Рядом бейдж: «Сержант Р. Кёртис».

— Ты ещё кто такой, — сказал он.

— Я... я из Роузвуда, — сказал я. — Из дома на Пайн-стрит. Я был в больнице, то есть дома, то есть в коме, и я очнулся, и...

— Короче.

— Я ищу людей, — сказал я. — Мне сказали... Я видел записку. Что здесь полиция. Кёртис смотрел на меня. Долго. Покрутил ус. Потом кивнул тому, что у ворот.

— Обыщи.

Меня обыскали так, как обыскивают в кино. Лицом к машине, ноги шире плеч, руки на капот. Капот был тёплый от солнца.

Чужие руки прошлись по бокам, по спине, по ногам. Выдернули из-за ремня молоток и бросили на землю, к колесу. Залезли в нагрудный карман, вытащили свёрток с кремнёвой пластинкой, развернули.

— Ого, — сказал тот, что обыскивал. — Сержант.

Он вытащил из внутреннего кармана свёрток в промасленной тряпке. Развернул.

Револьвер блеснул на солнце.

Тишина во дворе стала очень плотной.

— Так, — сказал Кёртис. Подошёл. Взял револьвер у подчинённого, взвесил на ладони. Откинул барабан — одним движением кисти, ловко, как в кино. Посмотрел. Защёлкнул. — Заряжен.

— Я его нашёл, — сказал я быстро, глядя на капот. — Вчера. В подвале. Я не стрелял ни разу. Он был в банке из-под печенья...

— Незаконное ношение огнестрельного оружия, — сказал Кёртис. — В условиях чрезвычайного положения.

— Подождите, — сказал я. И тут во мне проснулся юрист. Как всегда, не вовремя. — Подождите. В Кентукки разрешено открытое ношение без лицензии. А на скрытое ношение действие лицензии в условиях ЧП... вообще-то это спорный вопрос, губернатор должен был специальным указом...

Кёртис ударил меня в живот.

Коротко, без замаха. Кулаком, точно под рёбра.

Из меня вышел весь воздух. Весь, до последней капли. Сложился пополам, сполз по капоту на колени и стоял так, разинув рот, не в силах вдохнуть. Перед глазамиплыли чёрные мушки.

— Губернатор, — сказал Кёртис надо мной, — сейчас, скорее всего, жрёт своих секретарш. Здесь указ — это я. Понял?

Кивнул. Вдохнуть всё ещё не получалось.

— Изъято, — сказал Кёртис и сунул мой револьвер себе за ремень. — Рюкзак.

Рюкзак с меня стащили. Перевернули над землёй, вытряхнули. Посыпалось всё — термос, банки, кроссворды...

Рядом наклонились. Подобрали банки. Оленина. Персики. Огурцы. Стейк в полиэтилене.

— Тут еда, — сказал тот, что у ворот.

— Реквизировано, — сказал Кёртис.

Коробку с патронами вынули последней. Тряхнули — патроны глухо стукнули внутри.

— Тридцать восьмой. — Кёртис хмыкнул. — Ну надо же. Реквизировано.

Наконец вдохнул. Со свистом, рывком. Закашлялся. Слёзы потекли сами.

Молоток так и лежал у колеса. Тот, что у ворот, подобрал его, повертел и унёс вместе с банками. А пластинку в обрывке простыни никто не тронул. Камень. Протянул руку, накрыл её ладонью и сунул в карман штанов.

«Ну что, — сказал Дон тихо, — как тебе процедура?»

Не ответил. Стоял на коленях посреди двора, рядом с моими вытряхнутыми кроссвордами, и смотрел, как мою еду уносят в дом.

Отвела меня в сторону, к амбару, женщина в той же форме.

Не сразу понял, что это женщина: та же коричневая рубашка, тот же ремень, короткие тёмные волосы под форменной кепкой. Лет тридцать. Худая, жилистая, с обветренным лицом. Бейдж: «Пом. шерифа Д. Олсен».

— Сядь, — сказала она и кивнула на перевёрнутое ведро.

Сел. Живот ещё болел. Она встала рядом, сложив руки на груди.

— Ты правда в коме лежал?

— Правда.

— Сколько?

— Не знаю.

Она хмыкнула. Посмотрела на меня внимательнее — на каску, на розовый воротник, торчащий из-под ватного жилета.

— Ладно, — сказала она. — Слушай. Здесь объявлен комендантский час. Гражданские должны находиться дома и не выходить. Это приказ шерифа.

— У меня нет дома, — сказал я. — То есть, есть, но там нет воды, нет еды, нет света. И там эти...

— Ну так найди другой. Забаррикадируйся. Сиди тихо.

— Можно мне остаться? Здесь? — Я сам слышал, как жалко это прозвучало. — Я могу работать. Я... я умею считать. Я могу вести учёт. Припасов, патронов, людей. Я юрист, я страховщик...

— Нет.

— Почему?

Олсен щёлкнула ручкой. Посмотрела на дом, потом на меня.

— Потому что шериф сказал: чужих не брать. Каждый новый рот — это минус еда для своих. Каждый чужой — это риск. Может, ты больной. Может, ты украдёшь. Может, ты приведёшь своих друзей ночью.

— У меня нет друзей, — сказал я.

Олсен помолчала.

— В Роузвуде, у полицейского участка, стоит мотоцикл, — сказала она вдруг, тише. — Патрульный «Харлей». Ключи у дежурного в ящике, если никто не забрал. Если умеешь ездить — уедешь далеко.

— Я ж не умею ездить на мотоцикле.

— Научишься.

— А вы? — спросил я. — Почему вы его не взяли?

Она не ответила. Посмотрела на дом, где за окнами двигались тени. Потом снова на меня.

— Уходи сегодня, — сказала она. — Лучше до темноты.

* * *

Они пришли с поля.

Сначала я слышал — сквозь шум ветра, сквозь голоса во дворе. Шарканье. Много. Как будто по сухой траве волокли десяток мешков.

Олсен услышала одновременно со мной. Резко повернулась.

— Кёртис! Восток!

Со стороны поля, оттуда, откуда пришёл я, к ферме шли они. Много. Начал считать и сбился на двенадцати. Медленные, вразнобой, растянувшись цепочкой по полю. Мужчины, женщины. Смотрел на них и понимал.

Вчера.

Вчерашняя стрельба. Слышал её за полмили. Значит, слышали и они. Со всех полей, со всех ферм вокруг. Шли всю ночь. Медленно, на звук, который уже стих, — но направление они запомнили.

— Огонь! — заорал Кёртис с крыльца.

Грохнуло.

Выстрелы ударили разом. Ружья, пистолеты. Сухо, хлётко, оглушительно. Присел за ведро и закрыл голову руками.

Стреляли все. Кто откуда. Тот, что у ворот, — от машины. Двое — от амбара. Кёртис — с крыльца, из моего револьвера. Олсен — из-за угла амбара, рядом со мной.

Пули свистели. Одна ударила в стену амбара над моей головой, полетели щепки.

Медленные падали. Вставали. Падали снова. Кто-то из них дошёл до сетки и повис на ней, цепляясь пальцами. Его застрелили в упор, через ячейки.

— Не в забор! — кричала Олсен. — Не в забор, идиоты!

Сидел, вжавшись в землю, и ждал, когда это кончится.

И тут что-то ударило меня в плечо.

Как будто кто-то ткнул палкой. Сильно, тупо. Меня развернуло на месте. Упал на бок.

Боли не было.

Тёплое и мокрое растекалось под курткой, по груди, к подмышке. Поднял руку — правую, левая не поднималась — и дотронулся до левого плеча. Пальцы стали красными.

Попали.

В меня попали.

И только тогда пришла боль.

Волной. Сначала жжение, будто приложили раскалённую сковородку. Потом глубже — тупо, тяжело, как будто в плечо вбили гвоздь и теперь медленно его поворачивают.

Закричал.

Кажется. Не слышал своего крика — вокруг всё ещё стреляли. Но горло драло так, будто я кричал.

Что-то ужалило в левую руку, ниже локтя. Мелкое, быстрое. Дёрнулся. Рукав куртки на предплечье набух тёмным.

Ещё одна. Дробь. Кто-то стрелял из ружья, и меня зацепило краем.

— Мать вашу! — кричала Олсен где-то над головой. — Кто палит по своим?! Кёртис!

Я полз.

Не знаю, куда. От амбара. Подальше. Правой рукой и коленями. Левая рука волочилась, как чужая. Земля была сухая, тёплая, пахла навозом.

Перед глазами качалось.

Кровь. Надо остановить кровь. Если не остановить — всё.

«При сильном кровотечении — давящая повязка». Это с инструктажа Линды.

Дополз до стены амбара. Сел, привалившись к ней. Стрельба — стала реже. Потом одиночные.

Рукой, одной, правой, я стащил с себя куртку. Потом жилет. Это заняло вечность. Каждое движение отдавалось в плечо так, что темнело в глазах.

Вцепился зубами в край футболки. Потянул. Ткань затрещала, но держалась.

Ещё раз. Зубами и правой рукой.

Треск. Полоса — розовая, с куском блестящей буквы.

Прижал её к плечу. Комком. Давил. Изо всех сил давил.

Больно. Так больно, что я вылез сквозь зубы.

Ещё полоса. Её — на предплечье. Туго. Узлом, зубами.

Стрельба кончилась.

Сидел у амбара, прижимая к плечу розовый комок, который темнел на глазах. Двор был в дыму. Пахло порохом — кисло, едко. За сеткой, в поле, лежали тела. Двенадцать, может, больше.

Кёртис стоял на крыльце и перезаряжал мой револьвер.

Олсен вышла из-за угла амбара. Увидела меня.

— Твою же... — сказала она.

Подошла. Присела. Отвела мою руку с комком. Посмотрела.

— Чья? — спросила она громко, через плечо. — Кто его?

Никто не ответил.

— Плечо, — сказала она мне. — Под ключицей. Пуля внутри. И дробь в руке.

— Я... — сказал я. Язык был ватный. — Я умру?

— Если будешь сидеть тут — да.

Она встала.

— Сержант. Его в дом надо.

— Нет, — сказал Кёртис с крыльца.

— Он кровью истечёт.

— Это его проблема.

Олсен посмотрела на Кёртиса. Кёртис посмотрел на Олсен.

Олсен отвернулась первой.

— Встать можешь? — спросила она меня.

Не помню, как. Но смог.

В дом я вошёл сам. Никто не помог. Олсен ушла к воротам. Кёртис стоял на крыльце, сложив руки на груди, и смотрел, как я поднимаюсь по ступенькам.

Внутри было темно и прохладно. Коридор. Кухня.

На кухонном столе стояла еда.

Миски с фасолью, хлеб — настоящий хлеб, буханка, отрезанная наполовину. Банка с арахисовым маслом. Кастрюля, накрытая крышкой. Пахло тушёным мясом.

Сел на стул, потому что ноги больше не держали.

И стал есть.

Не думая. Правой рукой — кусок хлеба, макнул в арахисовое масло, в рот. Ещё. Фасоль из миски — пальцами, горстью. Ещё хлеба.

Тело требовало.

— Эй!

В дверях кухни стоял тот, что был у ворот. Молодой, с прыщами на подбородке. Ружьё направлено на меня.

— Это наше! Положи!

Смотрел на него. Хлеб во рту.

— Положи, я сказал!

Проглотил хлеб.

— Я ранен, — сказал я. — Ваши меня... кто-то из ваших в меня попал.

— Выметайся! Встал и вышел!

Он передёрнул затвор. Звук был очень громкий в маленькой кухне.

Поднял я правую руку. Медленно.

— Я не могу идти, — сказал я. — Я истеку кровью. Пожалуйста.

За его спиной появился ещё один. Здоровый, в майке, без формы. В руке у него был топор. Обычный, колун, с длинной ручкой.

Он посмотрел на кровь, которая капала с моего локтя на пол.

И поднял топор.

Не замахнулся. Просто поднял — на уровень плеча. Чтобы я видел.

«Не двигайся, — сказал Дон в голове очень тихо. — Только не двигайся».

— Опusti.

Голос шёл из коридора. Спокойный, хриплый, усталый.

Мужик с топором обернулся.

В коридоре стоял пожилой. Лет шестьдесят. Седой, коротко стриженный, с глубокими морщинами вокруг рта. В такой же форме, как остальные, только рубашка выцвела сильнее и висела на нём свободнее. Бейдж: «Пом. шерифа Т. Хардинг».

— Опusti, Мэтт, — повторил он. — И ты, Бобби, ружьё убери.

— Кёртис сказал...

— Кёртис много чего говорит.

Хардинг прошёл в кухню.

Наклонился ко мне. Посмотрел на плечо. На руку.

— Подстрелили тебя, сынок, — сказал он без всякого вопроса в голосе. — Свои же. Ну, то есть наши.

— Да, — сказал я.

— Встать можешь?

— Не знаю.

— Ну давай попробуем.

Он взял меня под здоровую руку и поднял. Легко, как мешок. Повёл по коридору. Мэтт с топором отступил к стене, пропуская.

Спальня. Кровать. Покрывало в цветочек.

— Ложись.

— Мне нужен пинцет, — сказал Хардинг кому-то в коридоре. — И спирт. И бинты, если остались. И свет.

— Бинтов мало, Том.

— Значит, давай что есть.

Он сел на край кровати. Расстегнул на мне то, что осталось от футболки. Снял розовый комок. Посмотрел.

— Неглубоко сидит, — сказал он. — Повезло тебе. Если бы чуть ниже — лёгкое. Чуть левее — артерия. А так — мышца. Мясо.

— Мясо, — повторил я.

— Достану.

— А чем?

Он огляделся. Потом увидел мой рюкзак — его, видимо, кто-то бросил в коридоре, пустой. Подошёл. Пошарил внутри. Вытащил плоскогубцы.

Мои плоскогубцы. Из подвала дома у оврага.

— Это сойдёт, — сказал Хардинг.

Он полил плоскогубцы из бутылки. Запахло спиртом. Полил мне на плечо.

Заорал я.

— Тихо, тихо, — сказал Хардинг. — Это ещё цветочки. Таблетки есть?

— В кармане, — прохрипел я. — В джинсах. Обезболивающее.

Он нашёл. Выдавил две. Сунул мне в рот. Дал запить из стакана.

— Подождём пять минут, — сказал он. — Хотя толку от них...

Мы ждали пять минут. Смотрел в потолок. Хардинг смотрел в окно.

— Я Том, — сказал он.

— Я... — я назвал своё имя. Оно прозвучало странно. Я его давно не произносил вслух. — Я страховщик.

— Страховщик, — повторил Хардинг. — Тогда держись за спинку кровати.

Это было хуже всего, что случилось со мной за эти пять дней.

Хуже кровати в коме. Хуже Дуэйна. Хуже бегуна.

Плоскогубцы вошли в рану. Почувствовал каждый миллиметр — холодный металл, внутри, в мясе, глубже, глубже. Хардинг что-то нащупывал. Поворачивал. Выл я, вцепившись правой рукой в спинку кровати так, что хрустнули пальцы.

— Есть, — сказал Хардинг. — Держу.

Он потянул.

Мир стал белым.

Потом — чёрным.

Потом я лежал на мокрой от пота подушке, и Хардинг показывал мне маленький, сплюснутый, тёмный кусочек металла на ладони.

— Вот она, — сказал он. — Тридцать восьмой, кстати. Пистолетная.

— Тридцать восьмой... — повторил я.

Мой калибр. Из моего револьвера. Который стрелял с крыльца.

Кёртис.

Хардинг, кажется, понял то же самое. Посмотрел на пулю. Посмотрел на дверь. Ничего не сказал. Сунул пулю мне в правую руку и сжал мои пальцы вокруг неё.

— На память, — сказал он.

Дробину из предплечья он достал, быстро, почти не больно — после пули это было как укус комара. Плечо промыл, заткнул чем-то, туго замотал бинтом. Руку тоже.

— Всё, — сказал он. — Лежи.

За стеной, в соседней комнате, кто-то стонал. Тихо, монотонно, на одной ноте. Как скулит собака.

— Кто там? — спросил я.

Хардинг помолчал.

— Не спрашивай, — сказал он.

Он вышел. Дверь осталась приоткрытой.

Лежал и смотрел в щель.

В щели был виден кусок коридора и дверь в соседнюю комнату. Она тоже была приоткрыта. Внутри на полу у стены сидел человек. В клетчатой рубашке. Тот самый, которого обыскивали утром во дворе.

Он сидел, прислонившись спиной к стене, и смотрел в пол. Правая рука лежала у него на коленях.

Левой руки не было.

Вместо неё — култышка чуть выше запястья, замотанная бурым, грязным бинтом.

Он раскачивался взад-вперёд и стонал. Тихо. На одной ноте.

Смотрел на него и не мог отвести глаз.

Пока я лежал в двухстах метрах в траве и думал «процедура», ему отрубили руку.

Мэтт. С топором.

Меня затрясло от холода, который пошёл изнутри, из живота, по рукам, по ногам.

* * *

Хардинг вернулся под вечер. Солнце било в окно рыжим.

В руках у него был мой рюкзак. Он поставил его на пол у кровати.

— Твоё, — сказал он. — Что осталось.

Приподнялся я на локте. Заглянул.

Плоскогубцы — вытертые, со следами спирта. Тетрадь «Уход». Термос — пустой. Оружия и еды не было.

— Оружие и еду не отдадут, — сказал Хардинг. — Не проси.

Он поставил рядом бутылку воды. Пластиковую, литровую, полную.

— Это от меня.

Потом сел на стул у кровати. Посмотрел на свои руки — большие, в коричневых пятнах.

— Уходи сегодня, — сказал он. — Пока светло. Пока сержант не передумал.

— А он может передумать?

— Он может решить, что ты слишком много видел.

Посмотрел я на приоткрытую дверь, на соседнюю комнату.

— Что тут происходит, Том?

Хардинг долго молчал.

— Тридцать два года я носил эту форму, — сказал он наконец. — Тридцать два. Штрафы за превышение. Пьяные драки в баре по субботам. Кошки на дереве. Один раз — ограбление заправки, и то парень сам сдался. Я думал, хуже не бывает. Скука.

Он посмотрел в окно.

— А потом пришло это. И оказалось, что форма — это просто рубашка. А жетон — железка. И если тебя некому проверить, если над тобой никого — ты становишься тем, кем был всегда. Просто раньше это никто не видел.

— А вы? — спросил я. — Вы кем стали?

Хардинг усмехнулся. Невесело.

— Иди на восток, — сказал он. — Обратно, откуда пришёл. Поле, вдоль кустов. И сюда больше не возвращайся.

Шёл я через двор, держа рюкзак на правом плече. Левая рука висела на перевязи — Хардинг соорудил её из куска простыни.

Кёртис сидел на крыльце. На коленях у него лежал мой револьвер. Он чистил его — неторопливо, тряпочкой, как чистят любимую вещь.

Он поднял на меня глаза.

Ничего не сказал.

Промолчал и я.

У амбара на цепи лежал Барни. Когда я проходил мимо, он поднял голову и посмотрел на меня. Тихо заскулил. Хвост пару раз стукнул по земле.

Остановился.

Пёс Барни тоже с нами.

Этот, в клетчатой рубашке, на полу в соседней комнате, — это Джо?

— Прости, Барни, — сказал я тихо.

Олсен у ворот открыла их на ширину человека. Смотрела она в сторону, в поле, где лежали тела.

Протиснулся.

Ворота закрылись за спиной. Лязгнула цепь.

Шёл я на восток.

Поле, у кромки кустов, как сказал Хардинг. Шёл медленно, с привалом через каждые двадцать шагов. Плечо горело. Рука под перевязью пульсировала. Перед глазами иногда темнело, и тогда я садился прямо на землю и ждал.

Вчера я проходил восемьдесят шагов. Сегодня — двадцать.

Солнце садилось у меня за спиной, и тень от меня тянулась вперёд, длинная, тонкая, однорукая.

Где-то на полпути к дому у оврага я сел на край борозды и понял, что встать уже не смогу. Не сейчас.

Сидел. Открыл бутылку Хардинга — одной рукой, зажав её между коленями. Попил.

Разжал кулак.

На ладони лежала пуля. Маленькая, сплюснутая, тёмная. Смотрел на неё долго.

«Ну что, — сказал Дон, — и кто тебе теперь за это заплатит?»

Подумал.

Раньше на такие вопросы у меня всегда был ответ. Страховая. Суд. Государство. Кто-нибудь да заплатит.

— Никто, Дон, — сказал я. Голос был хриплый, чужой. — Платить больше некому.

Сжал пулю в кулаке. Положил кулак на колено.

Небо над полем стало сиреневым. Где-то в овраге запела птица. Та же, что вчера.

Сидел на краю борозды и не знал, куда идти.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.